

Страдания юного Вертера. Иоганн Вольфганг Гёте

Роман

Я бережно собрал все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера, предлагаю ее вашему вниманию и думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнетесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольете слезы над его участью.

А ты, бедняга, подпавший тому же искушению, почерпни силы в его страданиях, и пусть эта книжка будет тебе другом, если по воле судьбы или по собственной вине ты не найдешь себе друга более близкого.

Книга первая

4 мая 1771 г.

Как счастлив я, что уехал! Бесценный друг, что такое сердце человеческое? Я так люблю тебя, мы были неразлучны, а теперь расстались, и я радуюсь! Я знаю, ты простишь мне это. Ведь все прочие мои привязанности словно нарочно были созданы для того, чтобы растревожить мне душу. Бедняжка Леонора! И все-таки я тут ни при чем! Моя ли вина, что страсть росла в сердце бедной девушки, пока меня развлекали своенравные прелести ее сестрицы! И все же — совсем ли я тут неповинен? Разве не давала я пищи ее увлечению? Разве не были мне приятны столь искренние выражения чувств, над которыми мы частенько смеялись, хотя ничего смешного в них не было, разве я... Ах, да смеет ли человек судить себя! Но я постараюсь исправиться, обещаю тебе, милый мой друг, что постараюсь, и не буду, по своему обыкновению, терзать себя из-за всякой мелкой неприятности, какую преподносит нам судьба; я буду наслаждаться настоящим, а прошлое пусть останется прошлым. Конечно же, ты прав, мой милый, люди, — кто их знает, почему они так созданы, — люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим.

Не откажи в любезности сообщить моей матери, что я добросовестно исполнил ее поручение и вскоре напишу ей об этом. Я побывал у тетки, и она оказалась вовсе не такой мегерой, какой ее у нас изображают. Это жизнерадостная женщина сангвинического нрава и добрейшей души. Я изложил ей обиды матушки по поводу задержки причитающейся нам доли наследства; тетка привела мне свои основания и доводы и назвала условия, на которых согласна выдать все и даже больше того, на что мы притязаем. Впрочем, я не хочу сейчас распространяться об этом; скажи матушке, что все уладится. Я же, милый мой, лишний раз убедился на этом пустячном деле, что недомолвки и закоренелые предубеждения больше вносят в мир смуты, чем коварство и злоба. Во всяком случае, последние встречаются гораздо реже.

А вообще живется мне здесь отлично. Одиночество — превосходное лекарство для моей души в этом райском краю, и юная пора года щедро согревает мое сердце, которому часто бывает холодно в нашем мире. Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом, и хочется быть майским жуком, чтобы плавать в море благоуханий и насыщаться ими.

Город сам по себе мало привлекателен, зато природа повсюду вокруг несказанно прекрасна. Это побудило покойного графа фон М. разбить сад на одном из холмов, расположенных в живописном беспорядке и образующих прелестные долины. Сад совсем простой, и с первых же шагов видно, что планировал его не ученый садовод, а человек чувствительный, искавший для себя радостей уединения. Не раз уже оплакивал я усопшего, сидя в обветшалой беседке, — его, а теперь и моем любимом уголке. Скоро я стану полным хозяином этого сада; садовник успел за несколько дней привязаться ко мне, и жалеть ему об этом не придется.

10 мая

Душа моя озарена неземной радостью, как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блаженствую в здешнем краю, словно созданном для таких, как я. Я так счастлив, мой друг, так упоен ощущением покоя, что искусство мое страдает от этого. Ни одного штриха не мог бы я сделать, а никогда не был таким большим художником, как в эти минуты. Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чашей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинки и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, наблюдаю эти неисчислимые, непостижимые разновидности червяков и мошек и чувствую близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, — тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: «Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, запечатлеть отражение моей души, как душа моя — отражение предвечного бога!» Друг мой... Но нет! Мне не под силу это, меня подавляет величие этих явлений.

12 мая

Не знаю, то ли обманчивые духи населяют эти места, то ли мое собственное пылкое воображение все кругом превращает в рай. Сейчас же за городком находится источник, и к этому источнику я прикован волшебными чарами, как Мелузина и ее сестры. Спустившись с пригорка, попадаешь прямо к глубокой пещере, куда ведет двадцать ступенек, и там внизу из мраморной скалы бьет прозрачный ключ. Наверху низенькая ограда, замыкающая водоем, кругом рося высокие деревья, прохладный, тенистый полумрак — во всем этом есть что-то влекущее и таинственное. Каждый день я просиживаю там не меньше часа. И городские девушки приходят туда за водой — простое и нужное дело, царские дочери не гнушались им в старину.

Сидя там, я живо представляю себе патриархальную жизнь: я словно воочию вижу, как все они, наши праотцы, встречали и сватали себе жен у колодца и как вокруг источников и колодцев витали благодетельные духи. Лишь тот не поймет меня, кому не случалось после утомительной прогулки в жаркий летний день насладиться прохладой источника!

13 мая

Ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги. Милый друг, ради бога, избавь меня от них! Я не хочу больше, чтобы меня направляли, ободряли, воодушевляли, сердце мое достаточно волнуется само по себе: мне нужна колыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти. Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; не даром ты не встречал ничего переменчивей, непостоянней моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости! Потому-то я и лелею свое бедное сердечко, как больное дитя, ему ни в чем нет отказа. Не разглашай этого! Найдутся люди, которые поставят мне это в укор.

15 мая

Простые люди нашего городка уже знают и любят меня, в особенности дети. Я сделал печальное открытие. Вначале, когда я подходил к ним и приветливо расспрашивал о том о сем, многие думали, будто я хочу посмеяться над ними, и довольно грубо отмахивались от меня. Но я не унывал, только еще живее чувствовал, как справедливо одно давнее мое наблюдение: люди с определенным положением в свете всегда будут чуждаться простонародья, словно боясь унижить себя близостью к нему; а еще встречаются такие легкомысленные и злые озорники, которые для вида снисходят до бедного люда, чтобы только сильнее чваниться перед ним.

Я отлично знаю, что мы неравны и не можем быть равными; однако я утверждаю, что тот, кто считает нужным сторониться так называемой черни из страха уронить свое достоинство, заслуживает не меньшей хулы, чем трус, который прячется от врага, боясь потерпеть поражение.

Недавно пришел я к источнику и увидел, как молоденькая служанка поставила полный кувшин на нижнюю ступеньку, а сама оглядывалась, не идет ли какая-нибудь подружка, чтобы помочь ей поднять кувшин на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее.

— Помочь вам, девушка? — спросил я.

Она вся так и зарделась.

— Что вы, сударь! — возразила она.

— Не церемоньтесь!

Она поправила кружок на голове, и я помог ей. Она поблагодарила и пошла вверх по лестнице.

17 мая

Я завел немало знакомств, но общества по себе еще не нашел. Сам не понимаю, что во мне привлекательного для людей: очень многим я нравлюсь, многим становлюсь дорог, и мне бывает жалко, когда наши пути расходятся. Если ты спросишь, каковы здесь люди, мне придется ответить: «Как везде!» Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить, а если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вот оно назначение человека!

Однако народ здесь очень славный: мне крайне полезно забытья иногда, вместе с другими насладиться радостями, отпущенными людям, просто и чистосердечно пошутить за обильно уставленным столом, кстати устроить катанье, танцы и тому подобное; только не надо при этом вспоминать, что во мне таятся другие, без пользы отмирающие, силы, которые я принужден тщательно скрывать. Увы, как больно сжимается от этого сердце! Но что поделаешь! Быть непонятым — наша доля.

Ах, почему не стало подруги моей юности! Почему мне было суждено узнать ее! Я мог бы сказать: «Глупец! Ты стремишься к тому, чего не сыщешь на земле!» Но ведь у меня была же она, ведь чувствовал я, какое у нее сердце, какая большая душа; с ней я и сам казался себе больше, чем был, потому что был всем тем, чем мог быть. Боже правый! Все силы моей души были в действии, и перед ней, перед моей подругой, полностью раскрывал я чудесную способность своего сердца приобщаться природе. Наши встречи порождали непрерывный обмен тончайшими ощущениями, острейшими мыслями, да такими, что любые их оттенки, любые шутки носили печать гениальности. А теперь! Увы, она была старше меня годами и раньше сошла в могилу. Никогда мне не забыть ее, не забыть ее светлого ума и ангельского всепрощения!

На днях я встретился с неким Ф., общительным молодым человеком удивительно приятной наружности. Он только что вышел из университета, и хоть не считает себя мудрецом, однако думает, что знает больше других. Правда, по всему видно, что учился он прилежно: так или иначе, образование у него порядочное. Прослышав, что я много рисую и владею греческим языком (два необычных явления в здешних местах), он поспешил мне отрекомендоваться и щегольнул множеством познаний от Баттэ до Вуда, от Пиля до Винкельмана и уверил меня, что прочел из Зульцеровой «Теории» всю первую часть до конца и что у него есть рукопись Гайне об изучении античности. Я все это принял на веру.

Познакомился я еще с одним превосходным, простым и сердечным человеком, княжеским амтманом. Говорят, душа радуется, когда видишь его вместе с детьми, а у него их девять; особенно превозносят его старшую дочь. Он пригласил меня, и я вскорости побываю у него. Живет он на расстоянии полутора часов отсюда в княжеском охотничьем доме, куда получил разрешение переселиться после смерти жены, потому что ему слишком тяжело было оставаться в городе на казенной квартире.

Кроме того, мне повстречалось несколько оригинальничавших глупцов, в которых все невыносимо, а несносней всего их дружеские излияния.

Прощай! Письмо тебе понравится своим чисто повествовательным характером.

22 мая

Многим уже казалось, что человеческая жизнь — только сон, меня тоже не покидает это чувство. Я теряю дар речи, Вильгельм, когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничены творческие и познавательные силы человека, когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь имеющих только одну цель — продлить наше жалкое существование, а успешность в иных научных вопросах — всего лишь бессильное смирение фантазеров, которые расписывают стены своей темницы яркими фигурами и привлекательными видами. Я ухожу в себя и открываю целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых, полнокровных образах. И все тогда мутится перед моим взором, и я живу, точно во сне улыбаясь миру.

Все учнейшие школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не знают, почему они хотят чего-нибудь; но что взрослые не лучше детей ощупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, точно так же не видят в своих поступках определенной цели, и что ими так же управляют при помощи печенья, пирожного и розог, — с этим никто не хочет согласиться, а по моему разумению, это вполне очевидно.

Спешу признаться тебе, помня твои взгляды, что почитаю счастливыми тех, кто живет не задумываясь, подобно детям, нянчится со своей куклой, одевает и раздевает ее и умильно ходит вокруг шкафа, куда мама заперла пирожное, а когда доберется до сладенького, то уплетает его за обе щеки и кричит: «Еще!» Счастливые создания! Хорошо живется и тем, кто дает пышные названия своим ничтожным занятиям и даже своим страстишкам и преподносит их роду человеческому как грандиозные подвиги во имя его пользы и процветания.

Благо тому, кто может быть таким! Но если кто в смирении своем понимает, какая всему этому цена, кто видит, как прилежно всякий благополучный мещанин подстригает свой садик под рай и как терпеливо даже несчастливец, сгибаясь под бременем, плетется своим путем и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца, — кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе и счастлив уже тем, что он человек. И еще тем, что, при всей своей беспомощности, в душе он хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает.

26 мая

Ты издавна знаешь мою привычку приживаться где-нибудь, находить себе приют в укромном уголке и располагаться там, довольствуясь малым. Я и здесь облюбовал себе такое местечко.

Приблизительно в часе пути от города находится деревушка, называемая Вальхейм[1]. Она очень живописно раскинулась по склону холма, и когда идешь к деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину. Старуха, хозяйка харчевни, услужливая и расторопная, несмотря на годы, подает вино, пиво, кофе; а что приятнее всего — две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками, овинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко: мне выносят столик и стул из харчевни, и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.

Первый раз, когда я в ясный полдень случайно очутился под липами, площадь была совсем пустынна. Все работали в поле, только мальчуган лет четырех сидел на земле и обеими ручонками прижимал к груди другого, полугодовалого ребенка, сидевшего у него на коленях, так что старший как будто служил малышу креслом, и хотя черные глазенки его очень зазорно поблескивали по сторонам, сидел он не шевелясь.

Меня позабавило это зрелище: я уселся на плуг, напротив них, и с величайшим удовольствием запечатлел эту трогательную сценку. Пририсовал еще ближний плетень, ворота сарая, несколько сломанных колес, все, как оно было расположено на самом деле, и, проработав час, увидел, что у меня получился стройный и очень интересный рисунок, к которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем не отступать от природы. Она одна неисчерпаемо богата, она одна совершенствует большого художника. Много можно сказать в пользу установленных правил, примерно то же, что говорят в похвалу общественному порядку. Человек, воспитанный на правилах, никогда не создаст ничего безвкусного и негодного, как человек, следующий законам и порядкам общезжития, никогда не будет несносным соседом или отпетым злодеем. Зато, что бы мне ни говорили, всякие правила убивают ощущение природы и способность правдиво изображать ее! Ты скажешь: «Это слишком резко! Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побеги и т. д.».

Привести тебе сравнение, дорогой друг? Тут дело обстоит так же, как с любовью. Представь себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке, проводит подле нее целые дни, растрчивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному: «Милый юноша! Любить свойственно человеку, но надо любить по-человечески! Умейте распределять свое время: положенные часы посвящайте работе, а часы досуга — любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а так, скажем, ко дню рождения, к именинам и т. д.». Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек, и я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегию, но тогда любви его придет конец, а если он художник, то конец и его искусству. Друзья мои! Почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая ваши смущенные души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки, огороды и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа, а посему они ухитряются заблаговременно предотвращать опасность с помощью отводных каналов и запруд.

27 мая

Я вижу, что увлекся сравнениями, ударился в декламацию и забыл тебе досказать, что случилось дальше с ребятами. Часа два просидел я на плуге, погрузившись в творческие раздумья, весьма бессвязно изложенные во вчерашнем моем письме. Вдруг в сумерки появляется молодая женщина с корзиной на руке, спешит к детям, которые за все время не шелохнулись, и уже издали кричит: «Молодец, Филипс!» Мне она пожелала доброго вечера, я поблагодарил, поднялся, подошел ближе и спросил, ее ли это дети. Она ответила утвердительно, дала старшему кусок сдобной булки, а малыша взяла на руки и расцеловала с материнской нежностью. «Я велела Филипсу поддержать малыша, а сама пошла со старшим в город купить белого хлеба, сахара и глиняную миску для каши. (Все это виднелось в корзинке, с которой упала крышка.) Мне надо сварить Гансу (так звали маленького) супчик на ужин; а старший мой, баловник,

поспорил вчера с Филиппом из-за поскребышков каши и разбил миску». Я спросил, где же старший, и не успела она ответить, что он гоняет на лугу гусей, как он прибежал вприпрыжку и принес брату ореховый прутик. Я продолжал расспрашивать женщину и узнал, что она дочь учителя и что муж ее отправился в Швейцарию получать наследство после умершего родственника. «Его хотели обойти, — пояснила она, — даже на письма ему не отвечали, так уж он поехал сам. Только бы с ним не приключилось беды! Что-то ничего о нем не слышно». Я едва отделался от нее, дал каждому из мальчуганов по крейцеру, еще один крейцер дал матери, чтобы она из города принесла маленькому булку к супу, и на этом мы расстались.

Верь мне, бесценный друг, когда чувства мои рвутся наружу, лучше всего их волнение смирят пример такого существа, которое покорно бредет по тесному кругу своего бытия, перебивается со дня на день, смотрит, как падают листья, и видит в этом только одно — что скоро наступит зима.

С того дня я стал часто бывать в деревушке. Дети совсем ко мне привыкли; когда я пью кофе, им достается сахар, за ужином я уделяю им хлеба с маслом и простокваши. В воскресенье они обязательно получают по крейцеру, а если меня нет после обедни, хозяйке харчевни раз навсегда приказано давать им монетки. Дети доверчиво рассказывают мне всякую всячину. Особенно же забавляет меня в них игра страстей, простодушное упорство желаний, когда к ним присоединяются другие деревенские ребята. Немало труда стоило мне убедить их мать, что они не беспокоят меня.

30 мая

Все, что я недавно говорил о живописи, можно, без сомнения, отнести и к поэзии; тут важно познать совершенное и найти в себе смелость выразить его словами — этим немногим сказано многое. Сегодня я наблюдал сцену, которую надо просто описать, чтобы получилась чудеснейшая в мире идиллия.

Ах, при чем тут поэзия, сцена, идиллия? Неужели нельзя без ярлыков приобщаться к явлениям природы?

Если ты после такого предисловия ждешь чего-то возвышенного, изысканного, то опять жестоко обманешься; такое сильное впечатление произвел на меня всего лишь крестьянский парень. Я, как всегда, буду плохо рассказывать, а ты, как всегда, найдешь, что я увлекаюсь. Родина этих чудес — снова Вальхейм, все тот же Вальхейм.

Целое общество собралось пить кофе под липами. Мне оно было не по душе, и я, выставив благовидный предлог, устранился от него. Крестьянский парень вышел из ближнего дома и стал починять тот самый плуг, который я срисовал на днях. Юноша понравился мне с виду, и я заговорил с ним, расспросил об его жизни; вскоре мы познакомились и, как всегда выходит у меня с такого рода людьми, даже подружились. Он рассказал мне, что служит в работниках у одной вдовы и она очень хорошо с ним обращается. Он так много говорил о ней и до того ее расхваливал, что я сразу понял — он предан ей телом и душой. По его словам, она женщина уже немолодая, первый муж дурно обращался с ней, и она не хочет больше выходить замуж; из рассказа его совершенно ясно было, что краше ее, милее для него нет никого на свете, что он только и мечтает стать ее избранником и заставить ее позабыть провинности первого мужа, но мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы дать тебе представление о чистоте чувства, о любви и преданности этого человека. Мало того, мне нужен был бы дар величайшего поэта, чтобы охватить и выразительность его жестов, и звучность голоса, и затаенный огонь во взорах. Нет, никакими словами не описать той нежности, которой дышало все его существо: что бы я ни сказал, все выйдет грубо и нескладно. Особенно умилила меня в нем боязнь, что я неверно истолкую их отношения и усомнюсь в ее благонравии. Только в тайниках своей души могу я вновь прочувствовать, как трогательно он говорил о ее осанке, о ее теле, лишенном юной прелести, но властно влекущем и пленительном для него. В жизни своей не видел я, да и не воображал себе неотступного желания, пламенного страстного влечения в такой нетронутой чистоте.

Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание о такой искренности и непосредственности чувств потрясает меня до глубины души и образ этой верной и нежной любви повсюду преследует меня и сам я словно воспламенен ею, томлюсь и горю.

Постараюсь поскорей увидеть эту женщину, впрочем, если подумать, пожалуй, лучше воздержаться от этого. Лучше видеть ее глазами влюбленного; быть может, собственным моим глазам она предстанет совсем иной, чем рисуется мне сейчас, а зачем портить прекрасное видение?

16 июня

Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще слывешь ученым. Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров и даже... словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце... Боюсь сказать, но, кажется, я...

Не знаю, удастся ли мне описать по порядку, каким образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, а значит, не гожусь в трезвые повествователи.

Это ангел! Фи, что я! Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство; короче говоря, она полонила мою душу.

Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной природы! Все эти слова только пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз... нет, не в другой, а сейчас, сию минуту расскажу я тебе все! Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже три раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать туда. Я с утра дал себе слово остаться дома, а сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера...

Я не мог совладать с собой, не удержался и поехал к ней. Теперь я возвратился, буду ужинать хлебом с маслом и писать тебе, Вильгельм. Что за наслаждение для меня видеть ее в кругу восьмерых милых резвых ребятшек, ее братьев и сестер!

Если я буду продолжать в том же роде, ты до конца не поймешь ничего. Слушай же! Сделаю над собой усилие и расскажу все в

мельчайших подробностях.

Я писал тебе недавно, что познакомился с амтманом С. и он пригласил меня посетить его уединенную обитель, или, вернее, его маленькое царство. Я пренебрег этим приглашением и, вероятно, так и не побывал бы у него, если бы случайно не обнаружил сокровища, спрятанного в этом укромном уголке.

Наша молодежь затеяла устроить загородный бал, в котором я охотно принял участие. Я предложил себя в кавалеры одной славной, миловидной, но, впрочем, бесцветной девушке, и было решено, что я заеду в карете за моей дамой и ее кузиной, что по дороге мы захватим Шарлотту С. и вместе отправимся на праздник. «Сейчас вы увидите красавицу», — сказала моя спутница, когда мы широкой лесной просекой подъезжали к охотничьему дому. «Только смотрите не влюбитесь!» — подхватила кузина. «А почему?» — спросил я. «Она уже просватана за очень хорошего человека, — отвечала та, — он сейчас в отсутствии, поехал приводить в порядок свои дела после смерти отца и устраиваться на солидную должность». Эти сведения произвели на меня мало впечатления.

Солнце еще не скрылось за горной грядой, когда мы подъехали к воротам. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались иссера-белые пухлые облака. Я успокоил их страх мнимонаучными доводами, хотя я сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи.

Я вышел из кареты, и служанка, отворившая ворота, попросила обождать минутку: мамзель Лотхен сейчас будет готова. Я вошел во двор, в глубине которого высилось красивое здание, поднялся на крыльцо, и, когда переступил порог входной двери, передо мной предстало самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть.

В прихожей шестеро детей от одиннадцати до двух лет окружили стройную, среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках каравай черного хлеба, отрезала окружающим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково оделяла каждого, и каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан, а потом одни весело, вприпрыжку убежали со своим ужином, другие же, те, что помирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которой уедет их Лотхен. «Простите, что я затруднила вас и заставила дам дожидаться, — сказала она. — Я занялась одеванием и распоряжениями по дому на время моего отсутствия и забыла накормить детишек, а они желают получить ужин только из моих рук». Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успел оправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке, искоса поглядывая на меня, тогда я решительно направился к младшему, прехорошенькому малышу. Он только собрался отстраниться, как вошла Лотта и сказала: «Луи, дай дяде ручку!» Мальчуган сейчас же послушался, а я не мог удержаться и расцеловал его, несмотря на сопливый носик. «Дяде? — спросил я, подавая ей руку. — Вы считаете меня достойным быть вам родней?» — «Ну, у нас родство обширное, — возразила она с игривой улыбкой, — неужели же вы окажетесь хуже других?» На ходу она поручила сестренке Софи, девочке — лет одиннадцати, хорошо надзирать за детьми и поклониться папе, когда он вернется домой с прогулки верхом. Малышам она наказала слушать сестрицу Софи, все равно как ее самое, что почти все они твердо обещали. Только одна белокурая вострушка лет шести возразила: «Нет, это не все равно, Лотхен, тебя мы любим больше!»

Двое старших мальчиков взобрались на козлы, и по моей просьбе она разрешила им прокатиться до леса после того, как они пообещали крепко держаться и не ссориться между собой.

Не успели мы рассесться, не успели дамы поздороваться, оценить новые наряды, а главное, шляпки друг друга и разобрать по косточкам всех приглашенных, как Лотта велела кучеру остановиться и заставила братьев слезть с козел, причем оба они пожелали на прощание поцеловать ей руку, что старший проделал со всей нежностью пятнадцатилетнего юноши, а младший — с большой живостью и горячностью. Она еще раз передала привет малышам, и мы поехали дальше.

Кузина спросила, прочла ли Лотта книгу, которую она на днях послала ей. «Нет! — отвечала Лотта. — Она мне не понравилась, возьмите ее назад. И прежняя была не лучше». Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу[2]. Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице, оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее.

«Когда я была помоложе, мне больше всего нравились романы, — говорила она. — Одному богу известно, как приятно бывало мне усесться в воскресенье в уголок и всем сердцем переживать радости и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни. Не буду отрицать, и сейчас еще такого рода чтение не утратило для меня привлекательности. Я редко могу взяться за книгу, а потому она должна быть мне особенно по вкусу. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня, и чей рассказ занимает и трогает меня, как моя собственная домашняя жизнь. Пусть это далеко не райская жизнь, но в ней для меня источник несказанных радостей».

Я постарался скрыть волнение, вызванное этими словами. Правда, надолго моего благоразумия не хватило: когда Лотта мимоходом обронила меткие замечания о «Векфилдском священнике» ...о...[3]. Я не выдержал и высказал ей все, что думал, и лишь после того, как Лотта вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина не раз посматривала на меня, насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично.

Речь шла о любви к танцам. «Пусть эта страсть порочна, — сказала Лотта, — сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. Стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепьяно контрданс, и все мигом проходит».

Как любовался я во время разговора ее черными глазами! Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим, цветущим щекам, как, проникаясь смыслом ее речей, я порою не слышал самих слов, — все это ты, зная меня, легко себе представишь. Короче говоря, когда мы подъехали к бальному павильону, я вышел из кареты точно во сне и так замечтался, убаюканный вечерним сумраком, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу сверху, из освещенной залы.

Кавалеры кузины и Лотты — Одран и некий N. N., — разве упомнишь все имена, — встретили нас у кареты и подхватили своих дам, я

тоже повел свою наверх.

Мы переплетались в менюэтах, я приглашал одну даму за другой, и, как назло, самые несносные все медлили поблагодарить и отпустить меня. Лотта и ее кавалер начали танцевать англес, и ты сам поймешь, как было мне приятно, когда ей пришлось проделывать фигуру с нами! Надо только посмотреть, как она танцует! Видишь ли, она всем сердцем, всей душой отдается танцу, все движения ее так гармоничны, так беспечны, так непринужденны, как будто в этом для нее все, как будто она больше ни о чем не думает, ничего не чувствует, и, конечно же, в те минуты все остальное не существует для нее.

Я попросил у нее второй контрданс; она обещала мне третий и с очаровательной откровенностью призналась, что до страсти любит танцевать немецкий вальс. «Тут у нас принято, — продолжала она, — чтобы дама танцевала вальс со своим постоянным кавалером. Но мой кавалер прескверно вальсирует и будет мне признателен, если я избавлю его от этого труда. Ваша дама тоже не охотница и не мастерица танцевать вальс, а я заметила еще в англесе, что вы вальсируете превосходно. Так вот, если вам хочется танцевать со мной, ступайте попросите разрешения у моего кавалера, а я пойду к вашей даме». Я согласился, и мы решили, что ее танцор будет между тем занимать мою танцорку.

Танец начался, и мы некоторое время с увлечением выделяли разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она! Когда же все пары закружились в вальсе, поднялась сутолока, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благоразумно подождали, чтобы наплясались остальные, и когда самые неумелые очистили место, вступили мы еще с одной парой, с Одраном и его дамой, и не посрамили себя. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, — держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг и... Однако, сознаюсь тебе, я поклялся мысленно, что никогда, ни за какие блага в мире не позволил бы своей любимой, своей невесте, вальсировать с другим мужчиной. Ты меня, конечно, поймешь!

Мы несколько раз просто прошлись по зале, чтобы отдышаться. Потом Лотта села, и апельсины, с трудом добытые мною, превосходно освежили нас, только каждый ломтик, который она из вежливости уделяла беззастенчивой соседке, был мне словно острый нож в сердце.

Третий англес танцевали мы во второй паре. Когда мы проходили в танце по ряду и я с неизъяснимым упоением держал ее руку, смотрел в ее глаза, откровенно выражавшие искреннейшее, чистейшее удовольствие, мы поравнялись с женщиной, которая раньше еще привлекла мое внимание приятным выражением немолодого лица. Она с улыбкой поглядела на Лотту, погрозила пальцем и дважды многозначительно произнесла вдогонку имя Альберта.

«Разрешите узнать, кто такой Альберт?» — спросил я Лотту. Только она собралась ответить, как нам пришлось разлучиться, чтобы проделать длинную восьмую фигуру, а когда мы снова встретились в танце, мне показалось, что лицо у нее стало задумчивым.

«Зачем таиться перед вами? — сказала она, подавая мне руку для променада. — Альберт — хороший человек, с которым я почти что помолвлена». Это известие не было для меня ново (ведь барышни рассказали мне об этом по дороге), но теперь оно прозвучало для меня совсем по-новому, потому что теперь я связывал его с ней, а она за короткий миг стала мне так дорога. Словом, я смутился, растерялся и перепутал пары, так что все смешалось, только благодаря находчивости Лотты, ее стараниям и усилиям порядок был восстановлен.

Танец еще не кончился, когда молнии, которые давно уже поблескивали на горизонте и которые я упорно называл зарницами, засверкали сильнее, и гром стал заглушать музыку. Три дамы выбежали из цепи танцующих, и кавалеры последовали за ними; все смешалось, музыка смолкла. Когда несчастье или неожиданное потрясение настигают нас посреди удовольствия, вполне естественно, что они действуют сильнее, отчасти уже по контрасту, но главным образом потому, что чувства наши тут особенно обострены и, значит, мы тем легче поддаемся впечатлениям. Только этой причине могу я приписать нелепые выходки многих женщин. Самая благоразумная уселась в угол спиной к окну и заткнула уши; другая стала перед ней на колени и зарылась головой в ее платье, третья втиснулась между ними и, заливаясь слезами, прижимала к себе своих сестриц. Одни рвались домой; другие совсем не помнили себя, у них не хватало самообладания обуздывать дерзость наших юных шалунов, усердно старавшихся перехватить с губ прекрасных страдалиц жалобные мольбы, обращенные к небесам.

Некоторые мужчины отправились вниз выкурить без помехи трубочку, прочие же гости воспользовались счастливой мыслью хозяйки перейти в комнату, где имелись ставни и занавеси. Не успели мы собраться там, как Лотта принялась расставлять стулья в круг и, усадив все общество, предложила затеять игру.

Я видел, как многие уже облизывались и потягивались, предвкушая пикантный фант. «Мы будем играть в счет, — объявила Лотта. — Внимание! Я пойду по кругу справа налево, и вы считайте за мной; каждый должен называть то число, которое придется на него, и так до тысячи, только живо, без задержки, а кто запнется или ошибется — получит пощечину». Зрелище было превеселое. Она пошла по кругу с поднятой рукой. Первый сказал «раз», сосед его — «два», следующий — «три» и так далее. Потом она зашагала быстрее, все быстрее; один ошибся, бац! — пощечина, от смеха спутался другой, опять бац! — а она шла все быстрее. Я сам получил две оплеухи и с тайной радостью отметил, что они были явно увесистее тех, что доставались другим. Игра закончилась всеобщим смехом и гамом, не дойдя до тысячи.

Парочки уединились; гроза прошла, и я последовал за Лоттой в залу. На ходу она заметила: «Пощечины заставили их забыть и погоду, и все на свете!» Я не нашелся, что ответить. «Я первая струсилась, — продолжала она, — но старалась бодриться, чтобы придать храбрости другим, и сама расхрабрилась».

Мы подошли к окну. Где-то в стороне еще гроыхало, благодатный дождь струился на землю, и теплый воздух, насыщенный живительным ароматом, поднимался к нам. Она стояла, облокотясь на подоконник и вглядываясь в окрестности; потом посмотрела на небо, на меня; я увидел, что глаза ее подернулись слезами; она положила руку на мою и произнесла: «Клопшток!» Я сразу же вспомнил великолепную оду, пришедшую ей на ум, и погрузился в поток ощущений, которые она пробудила своим возгласом. Я не выдержал, я склонился и с блаженными слезами поцеловал ее руку. А потом снова взглянул ей в глаза. Великий! Дай бог тебе увидеть благоговейный восторг в этих

глазах, а мне никогда не слышать твоего имени из кощунственных уст!

19 июня

Не помню, на чем я остановился в прошлый раз. Одно помню, что до постели я добрался в два часа ночи и что если бы я мог болтать с тобой, а не писать, то продержал бы тебя, должно быть, до самого утра.

Я не рассказал еще, что произошло на обратном пути с бала, а сегодня у меня опять мало времени.

Что это был за великолепный восход солнца! Вокруг окропленный дождем лес и освеженные поля! Наши спутницы задремали. Она спросила, не хочется ли мне последовать их примеру, я могу не стесняться ее присутствием. «Пока передо мной сияют эти глаза, — сказал я, смело глядя на нее, — мне сон не грозит». Оба мы бодрствовали до самых ее ворот, когда служанка потихоньку отворила ей и на ее расспросы ответила, что все благополучно, а отец и малыши еще спят. На этом я расстался с ней, попросив разрешения навестить ее в тот же день. Она разрешила, и я приехал, и с тех пор солнце, месяц и звезды могут преспокойно совершать свой путь, я не знаю, где ночь, где день, я не вижу ничего кругом.

21 июня

Я переживаю такие счастливые дни, какие господь приберегает для своих святых угодников, и что бы со мной ни случилось, я не посмею сказать, что не познал радостей, чистейших радостей жизни.

Ты представляешь себе мой Вальхейм: там я прочно обосновался, оттуда мне полчаса пути до Лотты, а подле нее я становлюсь сам собой и ощущаю все счастье, доступное человеку.

Думал ли я, избирая Вальхейм целью своих прогулок, что он расположен так близко к небесам! Как часто во время дальних странствий видел я охотничий дом, средоточие всех моих желаний, то с холма, то с равнины над рекой!

Милый Вильгельм, я не раз задумывался над тем, как сильна в человеке жажда бродяжничать, делать новые открытия, как его манят просторы; но наряду с этим в нас живет внутренняя тяга к добровольному ограничению, к тому, чтобы катиться по привычной колее, не оглядываясь по сторонам.

Поразительно, право! Когда я приехал сюда и с пригорка оглядывал долину, — до чего же все вокруг притягивало меня. Вон тот лесок: хорошо бы нырнуть в его тень! И вершина вон той горы: хорошо бы оттуда обозреть всю окрестность! И примыкающие друг к другу холмы и укромные долины: хорошо бы углубиться в них! Я бежал туда и возвращался, не найдя того, на что надеялся. Будущее — та же даль! Необъятная туманность простерта перед нашей душой; ощущения наши теряются в ней, как и взгляды, и ах! как же мы жаждем отдать себя целиком, проникнуться блаженством единого, великого, прекрасного чувства. Но, увы, когда мы достигаем цели, когда «там» становится «тут», все оказывается прежним, и мы снова сознаем свое убожество, свою ограниченность, и душа наша томится по ускользнувшей усладе.

Так неугомоннейший бродяга под конец стремится назад, в отчизну, и в своей лачуге, на груди жены, в кругу детей, в заботах об их пропитании находит блаженство, которого тщетно искал по всему свету.

Когда я утром, на заре, отправляюсь в Вальхейм и там, в огороде при харчевне, сам рву для себя сахарный горошек, сажусь, чищу его и попутно читаю Гомера; когда я выбираю на кухоньке горшок, кладу в него масла, накрыв крышкой, ставлю стручки на огонь и подсаживаюсь, чтобы время от времени помешивать их, тогда я очень живо воображаю, как дерзкие женихи Пенелопы убивали, свеживали и жарили быков и свиней. Ничто не вызывает во мне такого тайного и непритворного восхищения, как этот патриархальный быт, и меня радует, когда я могу без натяжки переносить его черты в мое собственное повседневное существование.

Как отрадно мне всем сердцем ощущать бесхитростную, безмятежную радость человека, который кладет себе на стол возвращенный своими руками кочан капусты и в одно мгновение переживает вновь все хорошее, что связано с ним, — ясное утро, когда сам сажал его, и теплые вечера, когда его поливал и радовался, глядя, как он растет.

29 июня

Позавчера сюда из города приезжал лекарь и застал меня на полу среди ребятишек Лотты; одни карабкались по мне, другие меня тормошили, а я их щекотал, и мы дружно кричали во весь голос. Доктор, ученый паяц, который во время разговора непрерывно теревит складки своих манжет и без конца поправляет свое жабо, счел такое поведение недостойным рассудительного человека; это было у него на носу написано. Однако я нимало не смутился, слушал его мудрейшие разглагольствования, а сам наново строил детям карточные домики, которые они успели разрушить. После этого он ходил по городу и возмущался: дети амтмана и так, мол, невоспитанны, а Вертер окончательно разбаловал их.

Да, милый Вильгельм, дети ближе всего моей душе. Наблюдая их, находя в малыше зачатки всех добродетелей, всех сил, какие со временем так понадобятся ему; видя в упрямстве будущую стойкость и твердость характера, в шаловливости — веселый нрав и способность легко скользить над житейскими грозами, — и все это в такой целостности и чистоте! — я не устаю повторять золотые слова Учителя: «Если не обратитесь и не будете как дети!»

И вот, друг мой, хотя они равны нам, хотя они должны служить нам примером, мы обращаемся с ними, как с низшими. У них не должно быть своей воли! Но ведь у нас-то есть своя воля! Откуда же такая привилегия? Оттого, что мы старше и разумнее! Боже правый, ты с небес видишь лишь только старых детей да малых детей; а сын твой давно уже возвестил, от которых из них тебе больше радости. Они же веруют в него и не слушают его (это тоже не ново), и детей воспитывают по своему образцу, и... прощай, Вильгельм! Довольно пустословить на эту тему.

Чем может быть Лотта для больного — это я чувствую на своем собственном злосчастном сердце, а ему хуже приходится, нежели любому страдальцу, изнывающему на одре болезни. Она пробудет несколько дней в городе у одной почтенной женщины, которая, по мнению врачей, безнадежна и в последние минуты хочет видеть подле себя Лотту. На прошлой неделе мы ездили с Лоттой навестить пастора в Ш., местечке, лежащем в стороне, в горах. Туда час пути, и добрались мы около четырех часов. Лотта взяла с собой младшую сестру. Когда мы вошли во двор пастората, осененный двумя высокими ореховыми деревьями, славный старик сидел на скамейке у входа и, едва завидев Лотту, явно оживился, позабыл свою суковатую палку и поднялся навстречу госте. Она подбежала к нему, усадила его на место, села сама рядом, передала низкий поклон от отца, приласкала противного, чумазого меньшого сынишку пастора, усладу его старости. Посмотрел бы ты, как она занимала старика, как старалась говорить погромче, потому что он туг на ухо, как рассказывала о молодых и крепких людях, умерших невзначай, и о пользе Карлсбада, как одобряла его решение побывать там будущим летом, как уверяла, что он на вид много здоровее, много бодрее, чем в последний раз, когда она видела его. Я тем временем успел отрекомендоваться пасторше. Старик совсем повеселел, и так как я не преминул восхититься красотой ореховых деревьев, дающих такую приятную тень, он, хоть и не без труда, принялся рассказывать их историю. «Кем посажено старое, мы толком не знаем, — сказал он. — Кто говорит одним, кто — другим священником, а вон тому молодому дереву, что позади, ровно столько лет, сколько моей жене, в октябре стукнет пятьдесят. Отец ее посадил деревцо утром, а в тот же день под вечер она родилась. Он был моим предшественником в должности, и до чего ему было любо дерево, даже не выразишь словами, да и мне, конечно, не меньше. Жена моя сидела под ним на бревне и вязала, когда я двадцать семь лет тому назад бедным студентом впервые вошел сюда во двор». Лотта осведомилась о его дочери: оказалось, она пошла на луг к батракам с господином Шмидтом, старик же продолжал вспоминать, как полюбил его старый священник, а за ним и дочь и как он стал сперва его викарием, а потом преемником.

Рассказ близился к концу, когда из сада появилась пасторская дочка вместе с вышеназванным господином Шмидтом. Она с искренним радушием приветствовала Лотту, и, должен признаться, мне она понравилась. С такой живой и статной брюнеткой неплохо скоротать время в деревне. Ее поклонник (ибо роль господина Шмидта сразу же определилась), благовоспитанный, но неразговорчивый человек, все время помалкивал, как Лотта ни пыталась вовлечь его в беседу. Особенно было мне неприятно, что, судя по выражению лица, необщительность его объяснялась скорее упрямством и дурным характером, нежели ограниченностью ума. В дальнейшем это, к сожалению, вполне подтвердилось. Когда Фредерика во время прогулки пошла рядом с Лоттой, а следовательно, и со мной, лицо ее вздохателя, и без того смуглое, столь явно потемнело, что Лотта как раз вовремя дернула меня за рукав и дала понять, что я чересчур близок с Фредерикой. А мне всегда до крайности обидно, если люди докучают друг другу, тем более если молодежь во цвете лет вместо того, чтобы быть восприимчивой ко всяческим радостям, из-за пустяков портит друг другу недолгие светлые дни и слишком поздно понимает, что растрченного не возместишь. Это мучило меня, и, когда мы в сумерках вернулись на пасторский двор и, усевшись за стол пить молоко, завели разговор о горестях и радостях жизни, я воспользовался предлогом и произнес горячую речь против дурного расположения духа.

«Люди часто жалуются, что счастливых дней выпадает мало, а тяжелых много, — так начал я, — но, по-моему, это неверно. Если бы мы с открытым сердцем шли навстречу тому хорошему, что уготовано нам богом на каждый день, у нас хватило бы сил снести и беду, когда она приключится».

«Но мы не властны над своими чувствами, — возразила пасторша, — немалую роль играет и тело! Когда человеку неможется, ему всюду не по себе». В этом я согласился с ней. «Значит, надо считать это болезнью, — продолжал я, — и надо искать подходящего лекарства». — «Дельно сказано, — заметила Лотта. — Мне, например, кажется, что многое зависит от нас самих. Я это по себе знаю: когда что-нибудь огорчает меня и вгоняет в тоску, я вскочу, пробежусь раз-другой по саду, напевая контрдансы, и тоски как не бывало». — «Вот это я и хотел сказать, — подхватил я. — Дурное настроение сродни лени, оно, собственно, одна из ее разновидностей. От природы все мы с ленцой, однако же, если у нас хватает силы встряхнуться, работа начинает спориться, и мы находим в ней истинное удовольствие». Фредерика слушала очень внимательно, а молодой человек возразил мне, что не в нашей власти управлять собой, а тем более своими ощущениями. «Здесь речь идет о неприятных ощущениях, — отвечал я, — а от них всякий рад избавиться, и никто не знает предела своих сил, пока не испытает их. Кто болен, тот уже обойдет всех врачей, согласится на любые жертвы, не откажется от самых горьких лекарств, лишь бы вернуть себе желанное здоровье». Я заметил, что старик пастор напрягает слух, желая принять участие в нашем споре; тогда я возвысил голос и обратил свою речь к нему. «Церковные проповеди направлены против всяческих пороков, — говорил я, — но мне еще не доводилось слышать, чтобы с кафедры громили угрюмый нрав»[4]. — «Пусть этим занимаются городские священники, — возразил он, — у крестьян не бывает плохого расположения духа, впрочем, иногда такая проповедь не помешала бы, хотя бы в назидание моей жене и господину амтману». Все общество рассмеялось, и сам он смеялся от души, пока не закашлялся, что на время прервало наш диспут; затем слово опять взял молодой человек. «Вы назвали угрюмый нрав пороком; на мой взгляд, это преувеличено». — «Ничуть, — отвечал я, — разве то, чем портят жизнь себе и своим ближним, не заслуживает такого названия? Мало того что мы не в силах сделать друг друга счастливыми: неужто мы должны еще отнимать друг у друга ту радость, которая изредка выпадает на долю каждого? И назовите мне человека, дурно настроенного, но достаточно мужественного, чтобы скрывать свое настроение, одному страдать от него, не омрачая жизни окружающим. Притом же чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которую, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие. Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, — вот что несносно». Лотта улынулась мне, видя, с каким волнением я говорю, а слезы, блеснувшие в глазах Фредерики, подстрекнули меня продолжать: «Горе тому, кто, пользуясь своей властью над чужим сердцем, лишает его немудреных радостей, зарождающихся в нем самом. Никакое баловство, никакие дары не заменят минуты внутреннего удовольствия, отравленной завистливой неприязнью нашего мучителя».

Сердце мое переполнилось в этот миг; воспоминания о том, что было выстрадано когда-то, теснились в груди, и на глаза навернулись слезы.

«Вот что надо изо дня в день твердить себе, — заговорил я. — Одно только можешь ты сделать для друзей: не лишать их радости и приумножать их счастье, разделяя его с ними. Когда их терзает мучительная страсть, когда душа у них потрясена скорбью, способен ли ты дать им хоть каплю облегчения?»

И что же? Когда девушка, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит в полном изнеможении, сраженная последним, страшным недугом, и невидящий взор ее устремлен ввысь, а на бледном лбу проступает смертный пот, — тебе остается лишь стоять у постели, как преступнику, до глубины души ощущать свое бессилие и с мучительной тоской сознавать, что ты отдал бы все силы, лишь бы вдохнуть крупицу бодрости, искру мужества в холодеющее сердце!»

Воспоминание о подобной сцене, пережитой мною, сломило меня, пока я говорил. Я поднес платок к глазам и поспешил покинуть общество, и только голос Лотты, кричавшей мне: «Пора домой!» — отрезвил меня. И как же она бранила меня дорогой: нельзя все принимать так близко к сердцу! Это просто губительно! Надо беречь себя! Ангел мой! Я должен жить ради тебя!

6 июля

Она все еще ходит за своей умирающей приятельницей и по-прежнему верна себе: то же прелестное, заботливое создание, которое одним взглядом смягчает муки и дарит счастье. Вчера вечером она отправилась погулять с Марианной и крошкой Мальхен; я знал об этом, встретил ее, и мы пошли вместе. Погуляв часа полтора, мы возвратились в город и остановились у источника, который давно уже мил мне, а теперь стал в тысячу раз милее. Лотта села на каменную ограду, а мы стояли рядом. Я огляделся по сторонам, и ах! как живо вспомнилось мне время, когда сердце мое было так одиноко. «Милый источник, — сказал я, — с тех пор я ни разу не наслаждался твоей прохладой и даже мимоходом не бросал на тебя беглого взгляда». Я посмотрел вниз и увидел, что Мальхен бережно несет стакан воды. Я взглянул на Лотту и почувствовал, что? она для меня значит. Тем временем подошла Мальхен. Марианна хотела взять у нее стакан. «Нет, нет! — воскликнула крошка и ласково добавила: — Отпей ты первая, Лотхен!» Я был до того умилен искренней нежностью ее слов, что не мог сдержать свои чувства, поднял малютку с земли и крепко поцеловал, а она расплакалась и раскричалась. «Вы нехорошо поступили», — заметила Лотта. Я был посрамлен. «Пойдем, Мальхен, — продолжала Лотта, взяла ребенка за руку и свела вниз по ступенькам. — Скорей, скорей, помойся свежей водицей, ничего и не будет!» А я стоял и смотрел, с каким усердием малютка терла себе щеки мокрыми ручонками, с какой верой в то, что чудотворный источник смоет нечистое прикосновение и спасет ее от угрозы обрасти бородой; Лотта говорила: «Довольно уже!» — а девочка все мылась, верно, считая: чем больше, тем лучше. Уверяю тебя, Вильгельм, зрелище крестин никогда не внушало мне подобного благоговения. Когда же Лотта поднялась наверх, мне хотелось пасть ниц перед ней, как перед пророком, омывшим грехи целого народа.

Вечером я не удержался и от полноты сердца рассказал этот случай одному человеку, которого считал чутким, потому что он неглуп. И попало же мне! Он заявил, что Лотта поступила очень нехорошо, что детей нельзя обманывать; подобные басни дают повод к бесконечным заблуждениям и суевериям, от коих надо заблаговременно оберегать детей. Я вспомнил, что у него в семье неделю назад были крестины, и поэтому промолчал, но в душе остался верен той истине, что мы должны поступать с детьми, как господь поступает с нами, позволяя нам блуждать в блаженных грезах и тем даруя нам наивысшее счастье.

8 июля

Какие мы дети! Как много для нас значит один взгляд! Какие же мы дети!

Мы отправились в Вальхейм. Дамы поехали в экипаже, и во время прогулки мне показалось, что в черных глазах Лотты... Я глупец, не сердись на меня, но если бы ты видел эти глаза! Буду краток, потому что у меня глаза слипаются. Ну, словом, дамы уселись в карету, а мы: молодой В., Зельштадт, Одран и я стояли у подножки экипажа. Беспечная молодежь весело болтала с дамами. Я ловил взгляд Лотты. Увы, он скользил от одного к другому! Но меня, меня, смиренно стоявшего в стороне, он миновал! Сердце мое шептало ей тысячекратное «прости». А она и не взглянула на меня! Карета тронулась, на глаза мне навернулись слезы. Я смотрел ей вслед и видел, как из окошка высунулась знакомая шляпка, Лотта оглянулась. Ах! На меня ли?

Друг мой, в этой неизвестности я пребываю до сих пор. Единственное мое утешение: может быть, она оглянулась на меня? Может быть!

Покойной ночи! Какое же я дитя!

10 июля

Посмотрел бы ты, до чего у меня глупый вид, когда в обществе говорят о ней. А еще когда меня спрашивают, нравится ли мне она! Нравится — терпеть не могу это слово. Кем надо быть, чтобы Лотта нравилась, а не заполняла все чувства, все помыслы! Нравится! Один тут недавно спрашивал меня, нравится ли мне Оссиан!

11 июля

Госпоже М. очень плохо. Я молюсь, чтоб господь сохранил ей жизнь, потому что горюю вместе с Лоттой. Мы изредка видимся у моей приятельницы, и сегодня Лотта рассказала мне удивительную историю. Старик М. — мелочной, придирчивый скряга, он всю жизнь тиранил и урезал в расходах свою жену, но она всегда умела как-то выходить из положения. Несколько дней тому назад, когда врач признал ее состояние безнадежным, она позвала к себе мужа (Лотта была при этом) и сказала ему: «Я должна покаяться перед тобой, потому что иначе у тебя после моей смерти будут неприятности и недоразумения. Я всегда вела хозяйство насколько могла бережливо и осмотрительно; однако ты простишь мне, что я все эти тридцать лет плутовала. В начале нашего супружества ты назначил ничтожную сумму на стол и другие домашние расходы. Когда хозяйство наше расширилось и прибыль от торговли возросла, ты ни за что не желал соответственно увеличить мне недельное содержание: словом, сам знаешь, как ни широко мы жили, ты заставлял меня обходиться семью гульденами в неделю. Я не перечила, а недостаток еженедельно пополняла из выручки, — ведь никто не подумал бы, что хозяйка станет обкрадывать кассу. Я ничего не промотала и могла бы, не признавшись, с чистой совестью отойти в вечность, но ведь та, что после меня возьмет в руки хозяйство, сразу же станет в тупик, а ты будешь твердить ей, что первая твоя жена умела сводить концы с концами».

Мы поговорили с Лоттой о невероятном ослеплении человека, который не подозревает, что дело нечисто, когда семи гульденов хватает там, где явно расходует вдвое. Однако я сам встречал людей, которые не удивились бы, если бы у них в доме завелся кувшинчик с не

иссякающим по милости пророка маслом.

13 июля

Нет, я не обольщаюсь! В ее черных глазах я читаю непритворное участие ко мне и моей судьбе. Да, я чувствую, а в этом я могу поверить моему сердцу... я чувствую, что она, — могу ли, смею ли я выразить райское блаженство этих слов? — что она любит меня... Любит меня! Как это возвышает меня в собственных глазах! Как я... тебе можно в этом признаться, ты поймешь... как я благоговею перед самим собой с тех пор, что она любит меня!

Не знаю, дерзость ли это или верное чутье, только я не вижу себе соперника в сердце Лотты. И все же, когда она говорит о своем женихе, и говорит так тепло, так любовно, я чувствую себя человеком, которого лишили всех почестей и чинов, у которого отобрали шпагу.

16 июля

Ах, какой трепет пробегает у меня по жилам, когда пальцы наши соприкоснутся невзначай или нога моя под столом встретит ее ножку! Я отшатываюсь, как от огня, но тайная сила влечет меня обратно — и голова идет кругом! А она в невинности своей, в простодушии своем не чувствует, как мне мучительны эти мелкие вольности! Когда во время беседы она кладет руку на мою, и, увлекшись спором, придвигается ко мне ближе, и ее божественное дыхание достигает моих губ, — тогда мне кажется, будто я тону, захлестнутый ураганом. Но если когда-нибудь я употреблю во зло эту ангельскую доверчивость и... ты понимаешь меня, Вильгельм! Нет, сердце мое не до такой степени порочно. Конечно, оно слабо, очень слабо. А разве это не пагубный порок?

Она для меня святыня. Всякое вожделение смолкает в ее присутствии. Я сам не свой возле нее, каждая частица души моей потрясена. У нее есть одна излюбленная мелодия, которую она божественно играет на фортепьяно, — так просто, с таким чувством! Первая же нота этой песенки исцеляет меня от грусти, тревоги и хандры.

Я без труда верю всему, что издавна говорилось о волшебной силе музыки. До чего трогает меня безыскусный напев! И до чего кстати умеет она сыграть его, как раз когда мне впору пустить себе пулю в лоб! Смятение и мрак моей души рассеиваются, и я опять дышу вольнее.

18 июля

Вильгельм, что нам мир без любви! То же, что волшебный фонарь без света. Едва тыставишь в него лампочку, как яркие картины запестреют на белой стене! И пусть это будет только мимолетный мираж, все равно, мы, точно дети, радуемся, глядя на него, и восторгаемся чудесными видениями. Сегодня мне не удалось повидать Лотту: докучные гости задержали меня. Что было делать? Я послал к ней слугу, чтобы иметь возле себя человека, побывавшего близ нее. С каким нетерпением я его ждал, с какой радостью встретил! Если бы мне не было стыдно, я притянул бы к себе его голову и поцеловал.

Говорят, что бононский камень, если положить его на солнце, впитывает в себя солнечные лучи, а потом некоторое время светится в темноте. Чем-то подобным был для меня мой слуга. Оттого, что ее глаза останавливались на его лице, баках, на пуговицах ливреи, на воротнике плаща, — все это стало для меня такой святыней, такой ценностью! В тот миг я не уступил бы его и за тысячу талеров. В его присутствии мне было так отрадно. Упаси тебя бог смеяться над этим! Вильгельм, мираж ли то, что дает нам отраду?

19 июля

«Я увижу ее! — восклицаю я утром, просыпаясь и весело приветствуя яркое солнце. — Я увижу ее!» Других желаний у меня нет на целый день. Все, все поглощается этой надеждой.

20 июля

Я еще отнюдь не решил послушаться вас и поехать с посланником в ***. Мне не очень-то по нутру иметь над собой начальство, а тут еще все мы знаем, что и человек-то он дрянной. Ты пишешь, что матушка хотела бы определить меня к делу. Меня это рассмешило. Разве сейчас я бездельничаю? И не все ли равно в конце концов, что перебирать: горох или чечевицу. Все на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почестей или чего-нибудь еще.

24 июля

Так как ты очень печешься о том, чтобы я не забросил рисования, я предпочел обойти этот вопрос, чем признаться тебе, сколь мало мною сделано за последнее время.

Никогда не был я так счастлив, никогда моя любовь к природе, к малейшей песчинке или былинке не была такой всеобъемлющей и проникновенной; и тем не менее, — не знаю, как бы это выразить, — мой изобразительный дар так слаб, а все так зыбко и туманно перед моим духовным взором, что я не могу запечатлеть ни одного очертания; мне кажется, будь у меня под рукой глина или воск, я бы сумел что-нибудь создать. Если это не пройдет, я достану глины и буду лепить — пусть выходят хоть пирожки!

Трижды принимался я за портрет Лотты и трижды осрамился; это мне тем досаднее, что прежде я весьма успешно схватывал сходство. Тогда я сделал ее силуэт, и этим мне придется удовлетвориться.

25 июля

Хорошо, милая Лотта, я все добуду и доставлю; давайте мне побольше поручений и как можно чаще! Об одном только прошу вас: не посыпайте песком адресованных мне писем. Сегодня я сразу же поднес записочку к губам, и у меня захрустело на зубах.

26 июля

Я не раз уже давал себе слово пореже видеться с ней. Но попробуй-ка сдержи слово! Каждый день я не могу устоять перед искушением и свято обещаю пропустить завтрашний день.

А когда наступает завтрашний день, я неизменно нахожу веский предлог и не успеваю оглянуться, как я уже там. Либо она скажет с вечера:

«Завтра вы, конечно, придете?» Как же после этого остаться дома? Либо даст мне поручение, и я считаю, что приличней самому принести ответ; а то день выдастся уж очень хороший, и я отправляюсь в Вальхейм, а оттуда до нее всего полчаса ходьбы. На таком близком расстоянии сила притяжения слишком велика, — раз, и я там! Бабушка моя знала сказку про магнитную гору: когда корабли близко подплывали к ней, они теряли все железные части, гвозди перелетали на гору, и несчастные моряки гибли среди рушившихся досок.

30 июля

Приехал Альберт, и мне надо удалиться. Пусть он будет лучшим, благороднейшим из людей и я сочту себя во всех отношениях ниже его, тем не менее нестерпимо видеть его обладателем столько совершенств. Обладателем! Одним словом, Вильгельм, жених приехал. Он милый, славный, и необходимо с ним ладить. По счастью, я не был при встрече! Это надорвало бы мне душу. Надо сказать, он настолько деликатен, что еще ни разу не поцеловал Лотту в моем присутствии. Воздай ему за это господь! Его стоит полюбить за то, что он умеет уважать такую девушку. Ко мне он доброжелателен, и я подозреваю, что это больше влияние Лотты, чем личная симпатия; на это женщины мастерицы, и они правы: им же выгоднее, чтобы два дыхателя ладили между собой, только это редко случается.

Однако же Альберт вполне заслуживает уважения. Его сдержанность резко отличается от моего беспокойного нрава, который я не умею скрывать. Он способен чувствовать и понимает, какое сокровище Лотта. По-видимому, он не склонен к мрачным настроениям, а ты знаешь, что этот порок мне всего ненавистнее в людях.

Он считает меня человеком незаурядным, а моя привязанность к Лотте и восхищение каждым ее поступком увеличивают его торжество, и он тем сильнее любит ее. Не могу поручиться, что он не донимает ее порой мелкой ревностью; во всяком случае, на его месте я бы вряд ли уберегся от этого демона.

Как бы там ни было, но радость, которую я находил в обществе Лотты, для меня кончена. Что это — глупость или самообольщение? К чему названия? От этого дело не изменится! Все, что я знаю теперь, я знал еще до приезда Альберта, знал, что не имею права домогаться ее, и не домогался. Конечно, поскольку можно не стремиться к обладанию таким совершенством; а теперь, видите ли, дурачок удивляется, что явился соперник и забрал у него любимую девушку.

Я стискиваю зубы и смеюсь над собственным несчастьем, но вдвойне, втройне смеялся бы над тем, кто сказал бы, что я должен смириться, и раз иначе быть не может... ах, избавьте меня от этих болванов! Я бегаю по лесам, а когда прихожу к Лотте, и с ней в беседке сидит Альберт, и мне там не место, тогда я начинаю шалить и дурачиться, придумывая разные шутки и проказы.

«Ради бога! Умоляю вас, без вчерашних сцен! — сказала мне Лотта. — Ваша веселость страшна». Между нами говоря, я улучаю время, когда он занят, миг и я там, и невыразимо счастлив, если застаю ее одну.

8 августа

Бог с тобой, милый Вильгельм! Я вовсе не имел в виду тебя, когда называл несносными людей, требующих от нас покорности неизбежной судьбе. Мне и в голову не приходило, что ты можешь разделять их мнение. Но, в сущности, ты прав. Только вот что, друг мой! На свете редко приходится решать, либо да, либо — нет! Чувства и поступки так же многообразны, как разновидности носов между орлиным и вздернутым. Поэтому не сердись, если я, признав все твои доводы, тем не менее попытаюсь найти лазейку между «да» и «нет».

Ты говоришь: «Либо у тебя есть надежда добиться Лотты, либо нет. Так! В первом случае старайся увенчать свои желания; в противном случае возьми себя в руки, попытайся избавиться от злополучного чувства, которое измучает тебя вконец!» Легко сказать, милый друг, но только лишь сказать...

А если перед тобой несчастный, которого медленно и неотвратимо ведет к смерти изнурительная болезнь, можешь ты потребовать, чтобы он ударом кинжала сразу пресек свои мучения? Ведь недуг, истощая все силы, отнимает и мужество избавиться от него.

Конечно, ты мог бы в ответ привести другое сравнение: всякий предпочтет отдать на отсечение руку, чем слабостью и нерешительностью поставить под угрозу самую свою жизнь. Пожалуй! Но на этом перестанем донимать друг друга сравнениями. Довольно!

Да, Вильгельм, у меня бывают минуты такого мужества, когда я готов вскочить, все стряхнуть с себя и бежать, вот только не знаю — куда.

Вечером

Сегодня мне попался в руки мой дневник, который я забросил с некоторых пор, и меня поразило, как сознательно я, шаг за шагом, шел на это, как ясно видел всегда свое состояние и тем не менее поступал не лучше ребенка, и теперь еще ясно вижу все, но даже не собираюсь образумиться.

10 августа

Я мог бы вести чудесную, радостную жизнь, но ведь я глупец. Обстоятельства складываются на редкость благоприятно для меня. Увы! Верно говорят, что счастье наше в нас самих. Я считаюсь своим в прекраснейшей из семей, старик любит меня, как сына, малыши, как отца, а Лотта... И вдобавок добрейший Альберт, который никогда не омрачает моего счастья сварливыми выходками, а, наоборот, окружает меня сердечной дружбой и дорожит мною больше, чем кем-нибудь на свете после Лотты! Любо послушать, Вильгельм, как мы во время прогулки беседуем друг с другом о Лотте. На свете не найдешь ничего смешнее этого положения, только мне от него часто хочется плакать.

Он мне рассказывает о том, как почтенная матушка Лотты на смертном одре завещала ей хозяйство и детей, а ему поручила Лотту, как с той поры Лотта совсем переродилась: в хлопотах по дому и в житейских заботах она стала настоящей матерью: каждый миг ее дня заполнен деятельной любовью и трудом, и тем не менее природная веселость и жизнерадостность никогда ее не покидают! Я иду рядом с ним, рву придорожные цветы, бережно собираю их в букет и... бросаю в протекающий ручеек, а потом слезу, как они медленно плывут по течению. Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется здесь и получит службу с приличным содержанием от двора, где к нему весьма благоволят. Я не встречал людей, равных ему по расторопности и усердию в работе.

12 августа

Бесспорно, лучше Альберта нет никого на свете. Вчера у нас с ним произошла удивительная сцена. Я пришел к нему проститься, потому что мне взбрело на ум отправиться верхом в горы, откуда я и пишу тебе сейчас; и вот, когда я шагал взад и вперед по комнате, мне попались на глаза его пистолеты. «Одолжи мне на дорогу пистолеты», — попросил я. «Сделай милость, — отвечал он. — Но потрудись сам зарядить их; у меня они висят только для украшения». Я снял один из пистолетов, а он продолжал: «С тех пор как предусмотрительность моя сыграла со мной злую шутку, я их и в руки не беру». Я любопытствовал узнать, как было дело, и вот что он рассказал: «Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля, держал при себе пару незаряженных карманных пистолетов и спал спокойно. Однажды в дождливый день сижу я, скучаю, и бог весть почему мне приходит в голову: а вдруг на нас нападут, вдруг нам понадобятся пистолеты, вдруг... словом, ты знаешь, как это бывает. Я сейчас же велел слуге почистить и зарядить их; а он давай балагурить с девушками, пугать их, а шомпол еще не был вынут, пистолет выстрелил невзначай, шомпол угодил одной девушке в правую руку и раздробил большой палец. Мне пришлось выслушать немало нареканий и вдобавок заплатить за лечение. С тех пор я воздерживаюсь заряжать оружие. Вот она — предусмотрительность! Опасности не предугадаешь, сердечный друг! Впрочем...» Надо тебе сказать, что я очень люблю его, пока он не примется за свои «впрочем». Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется. На этот раз он тоже залез в какие-то дебри; под конец я совсем перестал слушать и шутки ради внезапным жестом прижал дуло пистолета ко лбу над правым глазом. «Фу! К чему это?» — сказал Альберт, отнимая у меня пистолет. «Да ведь он не заряжен», — возразил я. «Все равно, это ни к чему, — сердито перебил он. — Даже представить себе не могу, как это человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться; самая мысль противна мне». — «Станный вы народ, — вырвалось у меня. — Для всего у вас готовы определения: то безумно, то умно, это хорошо, то плохо! А какой во всем этом смысл? Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Можете вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы».

«Согласись, — заметил Альберт, — что некоторые поступки всегда безнравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены».

Пожав плечами, я согласился с ним. «Однако, друг мой, — продолжала я, — здесь тоже возможны исключения. Конечно, воровство всегда безнравственно; однако же человек, идущий на грабеж, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой голодной смерти, пожалуй, заслуживает скорее жалости, нежели кары. А кто бросит камень в супруга, в справедливом гневе казнящего неверную жену и ее недостойного соблазителя? Или в девушку, которая губит себя, в безудержном порыве предавшись минутному упоению любви. Даже законники наши, хладнокровные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания».

«Это другое дело, — возразил Альберт. — Ибо человек, увлекаемый страстями, теряет способность рассуждать, и на него смотрят как на пьяного или помешанного».

«Ах вы, разумники! — с улыбкой произнес я. — Страсть! Опьянение! Помешательство! А вы, благонравные люди, стоите невозмутимо и безучастно в сторонке и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священнику, и, подобно фарисею, благодарите господа, что он не создал вас подобными одному из них. Я не раз бывал пьян, в страстях своих всегда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду недостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-мальски смелый, честный, непредусмотрительный поступок, непременно кричат: „Да он пьян! Да он рехнулся!“ Стыдитесь, вы, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы!»

«Очередная твоя блажь, — сказал Альберт. — Вечно ты перехватываешь через край, а тут уж ты кругом не прав, — речь ведь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями, когда на самом деле это несомненная слабость: куда легче умереть, чем стойко сносить мученическую жизнь».

Я готов был оборвать разговор, потому что мне несноснее всего слушать ничтожные прописные истины, когда сам я говорю от полноты сердца. Однако я сдержался, ибо не раз уж слышал их и возмущался ими, и с живостью возразил ему: «Ты это именуешь слабостью? Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи — неужто ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме и он под влиянием испуга напряжет все силы и с легкостью будет таскать тяжести, которые в обычном состоянии и с места бы не сдвинул, и если другой, возмущенный обидой, схватится с шестью и одолеет их — что ж, по-твоему, оба они слабые люди? А раз напряжение — сила, почему же, добрейший друг, перенапряжение должно быть ее противоположностью?» Альберт посмотрел на меня и сказал:

«Не сердись, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем».

«Допустим, — согласился я. — Мне уж не раз ставили на вид, что мои рассуждения часто граничат с нелепицей. Попробуем как-нибудь иначе представить себе, каково должно быть на душе у человека, который решился сбросить обычно столь приятное бремя жизни; ибо мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами. Человеческой природе положен определенный предел, — продолжал я. — Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен ли он или слаб, а может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно душевных или физических, и, по-моему, так же дико говорить: тот трус, кто лишает себя жизни, — как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки».

«Это парадоксально. До крайности парадоксально!» — вскричал Альберт. «Не в такой мере, как тебе кажется, — возразил я. — Ведь ты согласен, что мы считаем смертельной болезнью такое состояние, когда силы человеческой природы отчасти истощены, отчасти настолько подорваны, что поднять их и какой-нибудь благодетельной встряски восстановить нормальное течение жизни нет возможности. А теперь, мой друг, перенесем это в духовную сферу. Посмотри на человека с его замкнутым внутренним миром: как действуют на него впечатления, как навязчивые мысли пускают в нем корни, пока все растущая страсть не лишит его всякого самообладания и не доведет до гибели».

Тщетно будет хладнокровный, разумный приятель анализировать состояние несчастного, тщетно будет увещевать его! Так человек здоровый, стоящий у постели больного, не волеет в него ни капли своих сил».

Для Альберта это были слишком отвлеченные разговоры. Тогда я напомнил ему о девушке, которую недавно вытащили мертвой из воды, и вновь рассказал ее историю:

«Милое юное создание, выросшее в тесном кругу домашних обязанностей, повседневных будничных трудов, не знавшее других развлечений, как только надеть исподволь приобретенный воскресный наряд и пойти погулять по городу с подругами, да еще в большой праздник поплясать немножко, а главное, с живейшим интересом посудачить часок-другой с соседкой о какой-нибудь ссоре или сплетне; но вот в пылкой душе ее пробуждаются иные, затаенные желания, а лесть мужчин только поощряет их, прежние радости становятся для нее пресны, и, наконец, она встречает человека, к которому ее неудержимо влечет неизведанное чувство; все ее надежды устремляются к нему, она забывает окружающий мир, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме него, и рвется к нему, единственному. Не искушенная пустыми утехами суетного тщеславия, она прямо стремится к цели: принадлежать ему, в нерушимом союзе обрести то счастье, которого ей недостает, вкусить сразу все радости, по которым она томилась. Многократные обещания подкрепляют ее надежды, дерзкие ласки разжигают ее страсть, подчиняют ее душу; она ходит как в чаду, предвкушая все земные радости, она возбуждена до предела, наконец она раскрывает объятия навстречу своим желаниям, и... возлюбленный бросает ее. В оцепенении, в беспмятстве стоит она над пропастью; вокруг сплошной мрак; ни надежды, ни утешения, ни проблеска! Ведь она покинута любимым, а в нем была вся ее жизнь. Она не видит ни божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ей утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром и, задыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову бросается вниз, чтобы потопить свои страдания в обступившей ее со всех сторон смерти. Видишь ли, Альберт, это история многих людей. И скажи, разве нет в ней сходства с болезнью? Природа не может найти выход из запутанного лабиринта противоречивых сил, и человек умирает. Горе тому, кто будет смотреть на все это и скажет: „Глупая! Стоило ей выждать, чтобы время оказало свое действие, и отчаяние бы улеглось, нашелся бы другой, который бы ее утешил“. Это все равно, что сказать: „Глупец! Умирает от горячки. Стоило ему подождать, чтобы силы его восстановились, соки в организме очистились, волнение в крови улеглось: все бы тогда наладилось, он жил бы и по сей день“».

Альберту и это сравнение показалось недостаточно убедительным, он начал что-то возражать, между прочим, что я привел в пример глупую девчонку; а как можно оправдать человека разумного, не столь ограниченного, с широким кругозором, это ему непонятно. «Друг мой! — вскричал я. — Человек всегда останется человеком, и та крупица разума, которой он, быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть и ему становится тесно в рамках человеческой природы. Тем более... Ну, об этом в другой раз», — сказал я и схватился за шляпу. Сердце у меня было переполнено! И мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.

15 августа

Ясно одно: на свете лишь сила любви делает человека желанным. Я вижу это по Лотте, ей жалко было бы потерять меня, а дети только и ждуг, чтобы я приходил всякий день. Сегодня отправился туда настраивать Лотте фортепьяно, но так и не выбрал для этого времени, потому что дети неотступно требовали от меня сказки и Лотта сама пожелала, чтобы я исполнил их просьбу. Я покормил их ужином, от меня они принимают его почти так же охотно, как от Лотты, а потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки. Уверяю тебя, я сам при этом многому учусь: их впечатления поражают меня неожиданностью. Зачастую мне приходится выдумывать какую-нибудь подробность, и если в следующий раз я забываю ее, они сейчас же говорят, что в прошлый раз было иначе, и теперь уж я стараюсь без малейшего изменения бубнить все подряд нараспев. Из этого я вынес урок, что вторым, даже улучшенным в художественном смысле, изданием своего произведения писатель неизбежно вредит книге. Мы очень податливы на первое впечатление и готовы поверить всему самому неправдоподобному, оно сразу же прочно внедряется в нас, и горе тому, кто сделает попытку вытравить или искоренить его!

18 августа

Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?

Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий демон, преследует меня на всех путях. Бывало, я со скалы оглядывал всю цветущую долину, от реки до дальних холмов, и видел, как все вокруг растет, как жизнь там бьет ключом; бывало, я смотрел на горы, от подножия до вершины одетые высокими, густыми деревьями, и на многообразные извивы долин под сенью чудесных лесов и видел, как тихая река струится меж шуршащих камышей и отражает легкие облака, гонимые по небу слабым вечерним ветерком; бывало, я слышал птичий гомон, оживлявший лес, и миллионные рои мошек весело плясали в алом луче заходящего солнца, и последний зыбкий блик выманивал из травы гудящего жука; а стрекотание и возня вокруг привлекали мои взоры к земле, и мох, добывающий себе пищу в голой скале подо

мной, и кустарник, растущий на сухому, песчаному косогору, открывали мне кипучую, сокровенную священную жизнь природы; все, все заключал я тогда в мое трепетное сердце, чувствовал себя словно божеством посреди этого буйного изобилия, и величественные образы безбрежного мира жили, все одушевляя во мне! Исполинские горы обступали меня, пропасти открывались подо мною, потоки свергались вниз, у ног моих бежали реки, и слышны были голоса лесов и гор! И я видел их, все эти непостижимые силы, взаимодействующие и созидающие в недрах земли, а на земле и в поднебесье копошатся бесчисленные племена разнородных созданий, все, все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром! Жалкий глупец, ты все умаляешь, потому что сам ты так мал! От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унести на крыльях журавля, пролетавшего мимо, к берегам необозримого моря, из пенистой чаши вездесущего испытать головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству того, кто все созидает в себе и из себя!

Знаешь, брат, одно воспоминание о таких часах отрадно мне. Даже старание воскресить те невыразимые чувства и высказать их возвышает мою душу, чтобы вслед за тем я вдвойне ощутил весь ужас моего положения.

Передо мной словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы. Можешь ли ты сказать: «Это есть», — когда все проходит, когда все проносится с быстротой урагана, почти никогда не исчерпав все силы своего бытия, смывается потоком и гибнет, увы, разбившись о скалы? Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких, нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем! Безобиднейшая прогулка стоит жизни тысячам жалких червячков; один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О нет, не великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, не потоки, смывающие ваши деревни, не землетрясения, поглощающие ваши города: я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и все перемалывающего чудовища.

21 августа

Напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжелых снов, напрасно иду ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поцелуями ее руку. Когда же я тянусь к ней, еще одурманенный дремотой, и вдруг просыпаюсь, — поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.

22 августа

Это поистине несчастье, Вильгельм! Мои деятельные силы разладились, и я пребываю в какой-то тревожной апатии, не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу. У меня больше нет ни творческого воображения, ни любви к природе, и книги противны мне. Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно... Право же, иногда мне хочется быть поденщиком, чтобы, проснувшись утром, иметь на предстоящий день хоть какую-то цель, стремление, надежду. Часто, глядя, как Альберт сидит, зарывшись по уши в деловые бумаги, я завидую ему и, кажется, был бы рад поменяться с ним. Сколько раз уж было у меня поползновение написать тебе и министру и ходатайствовать о месте при посольстве, в чем, по твоим уверениям, мне не было бы отказано. Я и сам в этом уверен: министр с давних пор ко мне расположен и давно уже настаивал, чтобы я занимался каким-нибудь делом! Я ношу с этой мыслью некоторое время. А потом, как подумаю хорошенько да вспомню басню о коне, который, прискучив свободой, добровольно дал себя оседлать и загнать до полусмерти, тут уж я совсем не знаю, как быть! Милый друг, что, если только тягостная душевная тревога вынуждает меня жаждать перемен и все равно повсюду будет преследовать меня?

28 августа

Без сомнения, будь моя болезнь исцелима, только эти люди могли бы вылечить ее. Сегодня день моего рождения. Рано утром я получаю сверточек от Альберта. Раскрываю его и прежде всего нахожу один из розовых бантов, которые были на Лотте, когда мы познакомились, и которые я не раз просил у нее. К этому были приложены две книжечки в двенадцатую долю листа — маленький Гомер в ветштейновском издании, которое я давно искал, чтобы не таскать с собой на прогулку эрнестовские фолианты. Видишь, как они угадывают мои желания и спешат оказать мелкие дружеские услуги, в тысячу раз более ценные, нежели пышные дары, которые тешат тщеславие даятеля и унижают нас. Я без конца целую этот бант, вдыхая воспоминание о счастье, которым наполнили меня те недолгие, блаженные, невозвратимые дни. Так уж водится, Вильгельм, и я не ропщу; цветы жизни одна лишь видимость. Сколько из них облетает, не оставив следа! Плоды дают лишь немногие, и еще меньше созревает этих плодов! А все-таки их бывает достаточно, и что же... брат мой, неужто мы презрим, оставим без внимания зрелые плоды, дадим им сгнить, не вкусив их!

Прощай! Лето великолепное! Часто я взбираюсь на деревья в плодовом саду у Лотты и длинным шестом снимаю с верхушки спелые груши, а Лотта стоит внизу и принимает их у меня.

30 августа

Несчастный! Ужели я так глуп? Ужели продолжаю обманывать себя? К чему приведет эта буйная, буйная страсть? Я молюсь ей одной, воображение вызывает передо мной лишь ее образ, все на свете существует для меня лишь в соединении с ней. Сколько счастливых минут при этом переживаю я, но в конце концов мне приходится покидать ее! Ах, Вильгельм! Если бы ты знал, куда порой влечет меня сердце!

Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой, грацией, чудесным смыслом ее слов, чувства мои мало-помалу достигают высшего напряжения, в глазах темнеет, я почти не слышу, что-то сжимает мне горло убийственной хваткой, а сердце болезненными ударами стремится дать выход чувствам и лишь усиливает их смятение, — Вильгельм, в такие минуты я не помню себя. И если порой грусть не берет верх и Лотта не отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склоняюсь над ее рукой, — тогда я рвусь прочь

на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада — одолеть крутой подъем, проложив тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть-чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, иногда глубокой ночью при свете полной луны я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а потом перед рассветом забываюсь томительным полусном! — Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власьяница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме могилы!

3 сентября

Мне надо уехать! Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты принял за меня решение и положил конец моим колебаниям. Две недели ношу я с мыслью, что мне надо ее покинуть. Надо уехать. Она опять гостит в городе у подруги. И Альберт... и... мне надо уехать!

10 сентября

Что это была за ночь! Теперь я все способен снести, Вильгельм. Я никогда больше ее не увижу! Ах, если бы мог я броситься тебе на шею, друг мой, чтобы в слезах умиления излить все чувства, теснящие грудь! А вместо этого я сижу тут, с трудом переводя дух, стараюсь успокоиться и жду утра, лошадей подадут на рассвете.

Ах, она спит спокойно и не подозревает, что никогда больше не увидится со мной. У меня хватило силы оторваться от нее, не выдав своих намерений в двухчасовой беседе. И какой беседе, боже правый!

Альберт обещал мне сейчас же после ужина сойти в сад вместе с Лоттой. Я стоял на террасе под большими каштанами и провожал взглядом солнце, в последний раз на моих глазах заходившее над милой долиной, над тихой рекой.

Сколько раз стоял я здесь с нею, созерцая то же чудесное зрелище, а теперь... Я шагал взад и вперед по моей любимой аллее. Таинственная симпатическая сила часто привлекала меня сюда еще до встречи с Лоттой, и как же мы обрадовались, когда в начале знакомства обнаружили обоюдное влечение к этому уголку, поистине одному из самых романтических, какие когда-либо были созданы рукой человека.

Вообрази себе: сперва между каштановыми деревьями открывается широкая перспектива. Впрочем, я, кажется, уже не раз описывал тебе, как высокие стены буков мало-помалу сдвигаются и как аллея от примыкающего к ней боскета становится еще темнее и заканчивается замкнутым со всех сторон уголком, в котором всегда веет ужасом одиночества. Помню как сейчас, какой трепет охватил меня, когда я впервые попал сюда в летний полдень: тайное предчувствие подсказывало мне, сколько блаженства и боли будет здесь пережито.

С полчаса предавался я мучительным и сладостным думам о разлуке и грядущей встрече, когда услышал, что они поднимаются на террасу. Я бросился им навстречу, весь дрожа, схватил руку Лотты и прильнул к ней губами. Едва мы очутились наверху, как из-за поросшего кустарником холма взошла луна; болтая о том, о сем, мы незаметно приблизились к сумрачной беседке. Лотта вошла и села на скамью, Альберт сел рядом, я тоже, но от внутренней тревоги не мог усидеть на месте, вскочил, постоял перед ними, прошелся взад и вперед, сел снова; состояние было тягостное. Она обратила наше внимание на залитую лунным светом террасу в конце буковой аллеи — великолепное зрелище, тем более поразительное, что нас обступала полная тьма. Мы помолчали, а немного погодя она заговорила снова:

«Когда я гуляю при лунном свете, передо мной всегда неизменно встает воспоминание о дорогих покойниках, и ощущение смерти и того, что будет за ней, охватывает меня. Мы не исчезнем, — продолжала она проникновенным голосом. — Но свидимся ли мы вновь, Вертер? Узнаем ли друг друга? Что вы предчувствуете, что скажете вы?»

«Лотта, — произнес я, протягивая ей руку, и глаза у меня наполнились слезами. — Мы свидимся! Свидимся и здесь и там!» Я не мог говорить, Вильгельм, и надо же было, чтобы она спросила меня об этом, когда душу мне томила мысль о разлуке!

«Знают ли о нас дорогие усопшие, — вновь заговорила она, — чувствуют ли, с какой любовью вспоминаем мы их, когда нам хорошо? Образ моей матери всегда витает передо мной, когда я тихим вечером сижу среди ее детей, моих детей, и они теснятся вокруг меня, как теснились вокруг нее. И когда я со слезами грусти поднимаю глаза к небу, мечтаю, чтобы она на миг заглянула сюда и увидела, как я держу данное в час ее кончины слово быть матерью ее детям, о, с каким волнением восклицаю я тогда: „Прости мне, любимая, если я не могу всецело заменить им тебя! Ведь я все делаю, что в моих силах; кормлю и одеваю и, что важнее всего, люблю и лелею их! Если бы ты видела наше согласие, родимая, святая, ты возблагодарила и восславила бы господу, которого в горьких слезах молила перед кончиной о счастье своих детей!“»

Так говорила она, — ах, Вильгельм, кто перескажет то, что она говорила! Как может холодное, мертвое слово передать божественное цветение души! Альберт ласково прервал ее: «Это слишком тревожит вас, милая Лотта! Я знаю, вы склонны предаваться такого рода размышлениям, но, пожалуйста, не надо...» — «Ах, Альберт, — возразила она, — я знаю, ты не забудешь тех вечеров, когда папа бывал в отъезде, а мы отсылали малышей спать и сидели втроем за круглым столиком. Ты часто приносил с собой хорошую книгу, но очень редко заглядывал в нее, потому что ценнее всего на свете было общение с этой светлой душой, с этой прекрасной, нежной, жизнерадостной и неутомимой женщиной! Бог видел мои слезы, когда я ночью падала ниц перед ним с мольбой, чтобы он сделал меня похожей на нее».

«Лотта! — вскричал я, бросаясь перед ней на колени и орошая слезами ее руку. — Лотта! Благословение господне и дух матери твоей почует на тебе!» «Если бы только вы знали ее! — сказала она, пожимая мне руку, — она была достойна знакомства с вами!» У меня захватило дух — никогда еще не удостоивался я такой лестной, такой высокой похвалы. А она продолжала: «И этой женщине суждено было скончаться во цвете лет, когда младшему сыну ее не было и полугода. Болела она недолго и была спокойна и покорна, только скорбела душой за детей, в особенности за маленького. Перед самым концом она сказала мне: „Позови их!“ И когда я привела малышей, ничего не понимавших, и тех, что постарше, растерявшихся от горя, они обступили ее кровать, а она воздела руки и помоллилась за них и

а потом отослала детей и сказала мне: „Будь им матерью!“ Я поклонялась ей в этом. „Ты обещаешь им материнское сердце и материнское око. Это много, дочь моя. В свое время я не раз видела по твоим благодарным слезам, что ты чувствуешь, как это много. Заменяй же мать твоим братьям и сестрам, а отцу верностью и преданностью замени жену! Будь ему утешением!“ Она спросила о нем. Он вышел из дому, чтобы скрыть от нас свою нестерпимую скорбь; он не мог владеть собой. Ты был тогда в комнате, Альберт. Она спросила, чьи это шаги, и позвала тебя. Потом она посмотрела на тебя и на меня утешенным, успокоенным взглядом, говорившим, что мы будем счастливы, будем счастливы друг с другом». Тут Альберт бросился на шею Лотте и, целуя ее, воскликнул: «Мы счастливы и будем счастливы!» Даже спокойный Альберт потерял самообладание, а я совсем не помнил себя.

«Вертер! — обратилась она ко мне. — И подумать, что такой женщине суждено было умереть! Господи, откуда берутся силы видеть, как от нас уносятся самое дорогое, что есть в жизни, и только дети по-настоящему остро ощущают это, недаром они долго еще жаловались, что черные люди унесли их маму!»

Она поднялась, а я, взволнованный и потрясенный, не двигался с места и держал ее руку. «Пойдемте! — сказала она. — Пора!» Она хотела отнять руку, но я крепче сжал ее. «Мы свидимся друг с другом! — воскликнул я. — Мы найдем, мы узнаем друг друга в любом облике! Я уйду, уйду добровольно, — продолжал я, — и все же, если бы мне надо было сказать: „навсегда“, у меня не хватило бы сил. Прощай, Лотта! Прощай, Альберт! Мы еще свидимся!» — «Завтра, надо полагать», — шутя заметила она. Что я почувствовал от этого «завтра»? Увы! Знала бы она, отнимая свою руку... Они пошли по аллее, залитой лунным светом, я стоял и смотрел им вслед, потом бросился на траву, наплакался вволю, вскочил, выбежал на край террасы и увидел еще, как внизу в тени высоких лип мелькнуло у калитки ее белое платье; я протянул руки, и оно исчезло.

Книга вторая

20 октября 1771 г.

Вчера мы прибыли сюда. Посланник нездоров и поэтому несколько дней не выйдет из дому. Все бы ничего, будь он покладистее. Я чувствую, чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания. Но не будем унывать! При беспечном нраве все легко! Беспечный нрав? Даже смешно, как из-под моего пера вышли эти слова. Ах, немножко больше беспечности, и я был бы счастливейшим из смертных. Что же это, в самом деле? Другие в невозмутимом самодовольстве кичатся передо мной своими ничтожными силками и талантами, а я отчаиваюсь в своих силах и дарованиях? Боже всеблагий, оделивший меня так щедро, почему не удержал ты половину и не дал мне взамен самоуверенности и невзыскательности?

Ничего, ничего, все наладится. Ты совершенно прав, мой милый. С тех пор как я целые дни провожу на людях и вижу их делишки и повадки, я стал гораздо снисходительнее к себе. Раз уж мы так созданы, что все примеряем к себе и себя ко всему, — значит, радость и горе зависят от того, что нас окружает, и ничего нет опаснее одиночества. Воображение наше, по природе своей стремящееся подняться над миром, вскормленное фантастическими образами поэзии, рисует себе ряд людей, стоящих неизмеримо выше нас, и все, кроме нас, кажется нам необыкновенным, всякий другой человек представляется нам совершенством. И это вполне естественно. Мы на каждом шагу чувствуем, как много нам недостает, и часто видим у другого человека то, чего лишены сами, приписывая ему свои собственные качества, с несокрушимым душевным спокойствием в придачу. И вот счастливое порождение нашей фантазии готово. Зато когда мы неуверенно и кропотливо, с трудом пробиваемся вперед, то нередко обнаруживаем, что, спотыкаясь и плутая, мы забрались дальше, чем другие, плывя на всех парусах, и тут, поравнявшись с другими или даже опередив их, испытываем чувство подлинного самоутверждения.

26 ноября

Я начинаю кое-как осваиваться здесь. Самое главное, что дела достаточно; а кроме того, меня развлекает пестрое зрелище разнообразных людей, новых, разнородных типов. Я познакомился с графом К. и что ни день, то все сильнее почитаю его: это большой, светлый ум, но отнюдь не засушенный обширными познаниями; в его общении чувствуется столько ласкового дружелюбия! У меня было к нему деловое поручение, и он сразу принял во мне участие, с первых же слов увидев, что мы понимаем друг друга и что не с каждым можно так говорить, как со мной. Я, со своей стороны, глубоко тронут его приветливым и простым обращением. Право же, самая лучшая, самая чистая радость на свете — слушать откровенные излияния большой души.

24 декабря

Посланник сильно досаждал мне; я этого ожидал. Такого педантичного дурака еще не видел мир. Все он делает строго по порядку, придирчив, как старая дева, и вечно недоволен собой, а потому и на него ничем не угодишь. У меня работа спорится, и пишу я сразу набело. А он способен возвратит мне бумагу и сказать: «Недурно, но просмотрите-ка еще раз, — всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот». Тут уж я прихожу в бешенство. Ни одного «и», ни одного союза он тебе не уступит и яростно ополчается против инверсий, которые нет-нет да проскользнут у меня. Фразу ему надо строить на строго определенный лад, иначе он ничего не поймет. Горе иметь дело с таким человеком! Единственное мое утешение — дружба графа К. На днях он вполне откровенно высказал мне свое недовольство медлительностью и педантизмом моего посланника. «Такие люди только осложняют жизнь себе и другим. Но ничего не поделаешь, — добавил он. — Приходится мириться, как путешественнику, которому надо перевалить через гору: не будь горы, дорога была бы много удобнее и короче, но раз она есть, необходимо одолеть ее!»

Старик мой чует, что граф оказывает мне предпочтение перед ним, и это его злит; он пользуется любым случаем дурно отозваться при мне о графе: я, разумеется, не даю ему спуска, отчего положение только осложняется. Вчера я окончательно возмутился, потому что он попутно затронул и меня самого. Для светского обихода граф, мол, вполне на месте: и работает с легкостью, и пером владеет бойко, но глубокой ученостью он не отличается, как и все литераторы. Выражение его лица при этом ясно говорило: «Ловко я тебя поддел?» Но меня это ничуть не тронуло; я презираю людей, которые могут так думать и так себя вести. Я дал ему довольно резкий отпор, сказав, что граф заслуживает всяческого уважения как по своему характеру, так и своим познаниям. «Мне не доводилось видеть человека, — сказал я, — которому посчастливилось бы в такой степени расширить свой кругозор, распространить свою любознательность на разнообразнейшие предметы и остаться столь же деятельным в повседневной жизни». Для мозгов старика это была китайская грамота,

и я поспешил откланяться, чтобы окончательно не выйти из себя от како-нибудь нового абсурда.

И в этом повинны вы все, из-за ваших уговоров и разглаговльствований о пользе труда впрягся я в это ярмо! Труд! Да тот, кто сажает картофель и возит в город зерно на продажу, делает куда больше меня; если я не прав, я готов еще десять лет проработать на галере, к которой прикован сейчас.

А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишущих вокруг! Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хотя бы на полшага; дряннейшие и подлейшие страсти в самом неприкрытом виде. Одна особа, например, похваляется перед первым встречным своей знатностью и своими именами, так что каждый неизбежно думает: вот дура! Превозносит невесть как свое захудалое дворянство и великолепие своих поместий. А хуже всего вот что: особа эта — дочь местного писаря. Право же, не могу я понять людей, которым не совестно срамиться таким вопиющим образом.

Поистине я с каждым днем убеждаюсь все более, мой друг, что глупо судить о других по себе. У меня столько хлопот с самим собой, и сердце мое так строптиво, что мне мало дела до других, только бы им не было дела до меня.

Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения. Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне самому; пусть только оно не служит мне препятствием, когда на моем пути встречается хоть немножко радости, хоть искра счастья. Недавно я познакомился на прогулке с некоей девицей фон Б., милым созданием, сохранившим много естественности в этом чопорном кругу. Мы разговорились и понравились друг другу, а на прощание я попросил разрешения посетить ее. Она так чистосердечно дала его, что я едва дождался подходящего случая отправиться к ней. Она не живет здесь постоянно, а только гостит у тетки. Старуха с первого взгляда не понравилась мне. Я оказывал ей всяческое внимание, в разговоре обращался преимущественно к ней, и уже спустя полчаса мне было ясно то, в чем позднее призналась и сама девица, а именно: что милейшая тетушка, не имея в преклонных своих годах ни порядочного состояния, ни ума, не имея никакой опоры, кроме внушительного ряда бюргерских голов. В молодости она, говорят, была хороша собой, прожигала жизнь, не одного несчастного юношу довела до отчаяния своим своенравием, а в зрелые годы всецело подчинилась отставному вояке, который на условиях полной покорности и за приличное вознаграждение согласился скоротать с ней ее медный век вплоть до самой своей смерти. Теперь для нее наступил одинокий железный век, и никто бы не нарушал ее одиночества, не будь так мила ее племянница.

8 января 1772 г.

Что это за люди, у которых все в жизни основано на этикете и целыми годами все помыслы и стремления направлены к тому, чтобы подняться на одну ступень выше! Можно подумать, что у них нет других занятий: наоборот, работы накапливается ворох, именно потому, что мелкие дрызги задерживают выполнение крупных дел. На прошлой неделе во время катания на санях вышла ссора, и все удовольствие было испорчено.

Глупцы, как они не видят, что место не имеет значения и тот, кто сидит на первом месте, редко играет первую роль! Разве мало королей, которыми управляет их министр, мало министров, которыми управляет их секретарь? И кого считать первым? Того, по-моему, кто насквозь видит других и обладает достаточной властью или достаточно хитер, чтобы употребить их силы и страсти на осуществление своих замыслов.

20 января

Я принужден писать вам, милая Лотта, из убогой каморки на крестьянском постоялом дворе, где мне пришлось укрыться от непогоды. С тех пор как я маюсь в этом скверном городишке Д., посреди чуждых, глубоко чуждых моему сердцу людей, меня ни разу, ни одного разу не потянуло написать вам; а здесь, в этой лачуге, вдали от всех, в полном уединении, когда снег и град неистово стучат в мое оконце, здесь первая моя мысль была о вас. Едва я вошел, как образ ваш предстал передо мной, воспоминания о вас, о Лотта, так благоговейно, так трепетно возникли во мне. Боже правый, первый счастливый миг за столько времени!

Если бы вы видели меня, дорогая, в этом водовороте развлечений! Как иссушена моя душа! Ни одной минуты полноты чувств, ни одного счастливого часа! Ничего! Ничего! Я словно нахожусь в кукольном театре, смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки, и часто думаю: не оптический ли это обман? Я тоже играю на этом театре, вернее, мною играют как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе. С вечера я предполагаю полюбоваться на восход солнца, но не могу подняться с постели, днем я намереваюсь насладиться лунным светом — и не выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я встаю, почему ложусь спать.

Нет бродила, поднимавшего во мне жизненную энергию, исчезли чары, отгонявшие от меня сон глубокой ночью, пробуждавшие меня ранним утром.

Одно-единственное существо, достойное называться женщиной, остановило здесь мое внимание, некая девица фон Б.; ее можно бы отдаленно сравнить с вами, но кто же равен вам? «Ого, — скажете вы, — он наловчился делать комплименты!» Тут есть доля правды. С некоторых пор я крайне любезен, потому что другим мне быть нельзя, весьма остер и, по мнению дам, лучше всех умею тонко польстить. «И солгать», — добавьте вы; без этого не обойдешься, вы понимаете? Однако я говорил о девице Б. Голубые глаза ее отражают чувствительность души. Высокое положение ей только в тягость и не дает ни малейшего удовлетворения. Она рвется прочь от этой суеты, и мы целыми часами мечтаем об идиллической сельской жизни, — ах! и о вас! Как часто вынуждена она превозносить вас! Нет, не вынуждена, она делает это добровольно, с интересом слушает мои рассказы о вас, любит вас.

Ах, как бы мне хотелось сидеть у ваших ног в милой, уютной комнатке, и чтобы наши дорогие малыши возились вокруг меня, и чтобы я привлек и утихомирил их страшной сказкой, если бы они, по-вашему, чересчур расшумелись.

Солнце необычайно красиво заходит над сверкающей снегами долиной, буря промчалась, а я... я должен возвращаться в свою клетку.

Прощайте! Альберт с вами? И что же?... Господь да простит мне этот вопрос!

8 февраля

Уже неделю у нас стоит отвратительная погода, и меня это только радует; с тех пор как я здесь, не было ни одного погожего дня, которого бы мне кто-нибудь не испортил и не отравил. А теперь, когда льет дождь, когда метет, морозит, тает, я думаю: что ж, дома будет не хуже, чем на улице, и наоборот — и мне становится легче. Когда солнце встает утром и обещает ясный день, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: вот божий дар, который они постараются отнять друг у друга! Они все отнимают друг у друга! Здоровье, доброе имя, радость, покой! И чаще всего по недомыслию, тупости и ограниченности, а послушать их, — так с наилучшими намерениями. Иногда я готов на коленях молить их не раздирать с такой яростью собственные внутренности.

17 февраля

Боюсь, что мы с моим посланником недолго будем терпеть друг друга. Это положительно несносный старик. Его способы работы и ведения дел настолько смехотворны, что я принужден перечить ему и часто делаю по-своему, на что он, понятно, обижается.

Кончилось тем, что он пожаловался на меня при дворе, и министр выразил мне порицание, очень мягкое, но все же порицание, и я уже собрался подавать в отставку, как вдруг получил от него приватное письмо[5], такое письмо, перед мудрым, возвышенным и благородным содержанием которого я мог только преклониться. Как он выговаривает мне за чрезмерную обидчивость и, отдавая должное юношескому задору, проглядывающему в моих сумасбродных идеях о полезной деятельности, о влиянии на других и вмешательстве в важные дела, пытается не искоренить их, а лишь смягчить и направить по тому пути, где они найдут себе верное применение и окажут плодотворное действие! Понятно, что это на целую неделю ободрило и умиротворило меня.

Великая вещь — душевное спокойствие и довольство собой. Только б не было, милый друг, это сокровище столь же хрупким, сколь оно ценно и прекрасно!

20 февраля

Благослови вас господь, мои дорогие, и даруй вам все те радости, которых он лишает меня.

Спасибо тебе, Альберт, за то, что ты обманул меня! Я ждал известия о дне вашей свадьбы и решил в тот самый день торжественно снять со стены силуэт Лотты и спрятать его среди всяких бумаг. Теперь вы уже супружеская чета, а портрет все еще на стене! Пусть там и остается! А почему бы и нет? Я знаю, я тоже с вами, не в ущерб тебе живу в сердце Лотты, занимаю там второе место, и хочу, и должен сохранить его. О, я с ума бы сошел, если бы она могла забыть... Альберт, эта мысль для меня — ад, Альберт, прощай! Прощай, небесный ангел! Прощай, Лотта!

15 марта

У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда: от досады я скрежещу зубами! Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь, а виноваты в ней вы одни, вы же меня подстрекали, погоняли и заставляли взять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы и я! А чтобы ты не говорил как всегда, будто мои сумасбродные фантазии всему виной, изволь, сударь, выслушать подробный рассказ, изложенный с точностью и беспристрастием летописца.

Граф фон К. любит и отличает меня: это дело известное, я тебе об этом говорил уже сотни раз. Так вот вчера был я приглашен к обеду, а как раз в этот день по вечерам у него собираются знатные кавалеры и дамы; я об этом обществе никогда не помышлял, а потому понятия не имел, что нам, подначальным, там не место. Отлично. Я отобедал у графа; встав из-за стола, мы прогуливались взад и вперед по большой зале, я беседовал с ним, потом к нам присоединился полковник Б., и так наступил час съезда гостей. Мне и в голову ничего не приходит, как вдруг появляются высокородная госпожа фон С. с супругом и свежевылупившейся плоскогрудой гусыней-дочкой в аккуратном корсетике и en passant на аристократический манер тарачат глаза и раздувают ноздри, а так как эта порода глубоко противна мне, я сразу же собрался откланяться и только ждал, чтобы граф избавился от их несносной болтовни, но тут вошла моя приятельница фрейлейн Б. При виде ее мне, как всегда, сделалось немножко веселее на душе, я не ушел и встал позади ее кресла и только через некоторое время заметил, что она говорит со мной менее непринужденно, чем обычно, и как-то смущена. Это меня поразило. «Неужто и она такая же, как все?» — подумал я в обиде, и решил уйти, и все-таки остался, потому что не хотел этому верить, искал ей оправдания, и ждал от нее приветливого слова, и... кто его знает, почему еще. Тем временем гости съезжались. Барон Ф. во всей амуниции из коронационной поры Франца I, гофрат Р., которого здесь титулуют in qualitate господином фон Р., с глухой супругой и другие, не исключая и оборвыша И., подправляющего свой устарелый гардероб новомодными заплатами. Гости валят толпой, я беседую кое с кем из знакомых, все отвечают крайне лаконически. Я ничего не понимал... и занимался исключительно моей приятельницей Б. Я не видел, что женщины шушукались между собой на другом конце залы, что потом стали перешептываться и мужчины, что госпожа фон С. говорила с графом (все это рассказала мне впоследствии фрейлейн Б.), после чего граф направился ко мне и увлек меня в амбразуру окна.

«Ведь вам известны наши дикие нравы, — сказал он. — Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием. Я ни в коем случае не хотел бы...»

«Ваше превосходительство, — перебил я, — простите меня, ради бога; мне давно следовало догадаться самому, но, я знаю, вы извините мою оплошность... Я сразу же собрался откланяться, но некий злой гений удержал меня», добавил я с улыбкой, отвечивая поклон. Граф сжал мне руки с горячностью, которой было сказано все. Я незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал в М. посмотреть с холма на закат солнца и почитать из моего любимого Гомера великолепную песнь о том, как Улисс был гостем радушного свинопаса. И все было отлично.

Возвращаюсь я вечером к ужину, в трактире осталось очень мало посетителей; они играли в кости на углу стола, откинув скатерть. Вдруг появляется добрейший Аделин, увидев меня, снимает шляпу, подходит ко мне и спрашивает шепотом: «У тебя была неприятность?» —

«У меня?..» — говорю я. «Да как же, граф вы выставил тебя вон». — «Черт с ним и со всеми, я рад был очутиться на свежем воздухе», — ответил я. «Хорошо, что ты так легко принимаешь это. Одно мне досадно: об этом уже толкуют повсюду». Тут только эта история задела меня за живое. Мне казалось, что всякий, кто приходил к столу и смотрел на меня, только потому на меня и смотрит. И я злился.

А уже сегодня, куда я ни пойду, всюду меня жалеют, завистники же мои, по слухам, торжествуют и говорят: «Вот до чего доводит заносчивость, когда люди кичатся своим ничтожным умишком и считают, что им все дозволено», — и тому подобный подлый вздор. От всего этого впору всадить себе в сердце нож. Что бы ни толковали о независимости, а хотел бы я видеть человека, который спокойно слушал бы, как бездельники, имея против него козырь, судачат о нем; если их болтовня пустая, тогда, конечно, можно пренебречь ею.

16 марта

Все взялись меня бесить. Сегодня я встретил фрейлейн Б. на бульваре и не мог удержаться, чтобы не заговорить с ней, и как только мы немного отделились от общества, выразил ей мою обиду на тогдашнее ее поведение. «Ах, Вертер, — задумчивым тоном сказала она, — можно ли так истолковывать мое замешательство, зная мою душу! Что я выстрадала из-за вас с той минуты, как вошла в залу! Я все предвидела и сотни раз порывалась предупредить вас. Я знала, что эти особы С. и Т. со своими мужьями скорее уедут, чем потерпят ваше общество; я знала, что граф не может ссориться с ними. А теперь сколько шума!» — «Что вы, фрейлейн?» — спросил я, скрывая испуг, мне вспомнилось все, о чем рассказывал третьего дня Аделин, и меня точно кипятком обдало в этот миг. «Чего мне это стоило!» — сказала добрая девушка, и слезы выступили у нее на глазах. Я не мог больше владеть собой, я готов был броситься к ее ногам. «Объясните же!» — вскричал я. Слезы заструились у нее по щекам; я был вне себя; она отерла слезы, не скрывая их. «Вы ведь знаете мою тетушку, — заговорила она, — тетушка тоже была там, и какими же глазами смотрела она на происходящее! Вертер, вчера вечером и нынче утром мне пришлось вытерпеть целую проповедь из-за моего знакомства с вами, пришлось слушать, как вас порочат, унижают, и нельзя было по-настоящему вступить за вас».

Каждое слово, точно острый нож, вонзалось мне в сердце. Она не чувствовала, насколько милосерднее было бы скрыть все это от меня, а вдобавок еще присовокупила, что теперь сплетням не будет конца и определенного сорта люди не перестанут торжествовать и злорадствовать, считая, что я по заслугам наказан за свою заносчивость, за презрение к ближним.

Ах, Вильгельм, каково было мне слушать эти слова, сказанные тоном искреннейшего участия! Я был подавлен, и до сих пор во мне кипит ярость. Я хотел, чтобы кто-нибудь осмелился открыто бросить мне упрек, тогда я проткнул бы наглеца своей шпагой; вид крови успокоил бы меня. Ах, я сотни раз хватался за нож, чтобы облегчить душу; рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы легче было дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.

24 марта

Я подал двору прошение об отставке и надеюсь получить ее, а вам придется простить мне, что я не испросил на то вашего дозволения. Я во что бы то ни стало хочу уехать и знаю наизусть все доводы, которые вы будете приводить, чтобы заставить меня остаться, а потому... как-нибудь поделкатнее сообщите это матушке! Я ничем не могу ей помочь, мне самому не сладко! Конечно, ей должно быть обидно, что блистательная карьера сына, метившего со временем в тайные советники и посланники, так резко оборвалась и сверчок вернулся на свой шесток. Делайте что хотите, придумывайте, при каких условиях мне можно и должно было остаться! Все равно я уйду. А чтобы вы знали, куда я направляюсь, сообщу вам, что здесь находится князь, который весьма ценит мое общество; услышав о моем намерении, он пригласил меня провести в его владениях лучшую весеннюю пору. По его словам, я буду там предоставлен самому себе, и так как мы с ним до известной степени сходимся во взглядах, я решил рискнуть и поехать к нему.

Post scriptum 19 апреля

Благодарю тебя за обе весточки. Я не отвечал на них и не отсылал своего письма, пока не пришла моя отставка; я боялся, что матушка обратится к министру и помешает моим планам. Но теперь все кончено, отставка получена. Не стану рассказывать вам, как неохотно мне ее дали и что мне пишет министр, — вы опять ударились бы в ламентации. Наследный принц прислал мне на прощание двадцать пять дукатов с запиской, растрогавшей меня до слез; таким образом, мне не нужно денег, о которых я на днях просил матушку.

5 мая

Завтра я отсюда уезжаю, а так как родина моя находится в шести милях от проезжей дороги, я хочу повидать родные места, вспомнить далекие дни блаженных мечтаний. Я войду в те самые ворота, через которые матушка выехала со мной, когда после смерти отца решила покинуть наш милый уютный уголок и запереться в своем несносном городе. Прощай, Вильгельм! Я буду сообщать тебе о моем путешествии.

9 мая

Я совершил паломничество в родные края с благоговением истого пилигрима и при этом испытал самые неожиданные чувства. Подле большой липы, на расстоянии четверти часа от города по дороге в С., я велел остановиться, вышел и отправил почтовых лошадей, чтобы, идя пешком, вволю насладиться воспоминаниями. И вот я стоял под липой, которая в детстве была целью и пределом моих прогулок. Какая перемена! Тогда, в счастливом неведении, я рвался в незнакомый мне мир, где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, мятущуюся душу. Теперь, мой друг, я возвратился из дальнего мира с тяжким бременем несбывшихся надежд и разрушенных намерений! Я видел перед собой горный кряж, столько раз бывший средоточием моих стремлений. Когда-то я часами просиживал под липой и рвался туда и жаждал слиться душой с лесами и долинами, являвшимися моим взорам в такой заманчивой дымке; а когда наступало время возвращаться домой, с какой неохотой покидал я излюбленное место! Я направился к городу, приветствуя старые, издавна знакомые загородные павильоны; новые были мне противны, как и все прочие перемены, происшедшие с тех пор. Я вошел в ворота и сразу почувствовал себя дома. Милый друг, не стану вдаваться в подробности; то, что было для меня так отраднo, в рассказе выйдет скучным. Я решил поселиться на площади, рядом с нашим прежним домом.

Мимоходом я заметил, что школа, где муштровала нас славная старуха, превращена в мелочную лавочку. Мне припомнилось, сколько тревог, огорчений, недоумений и страхов пережил я в этой каморке. На каждом шагу попадалось мне что-нибудь примечательное. Ни один паломник ко святым местам не встретит на своем пути столько священных воспоминаний, и душа его вряд ли проникнется таким благоговейным трепетом. Приведу один пример из тысячи: я прошел вниз по течению реки до знакомой усадьбы. Это был когда-то мой обычный путь; отсюда мы, мальчишки, учились швырять в воду плоские камни так, чтобы они давали в воде побольше рикошетов. Мне живо припомнилось, как я, бывало, стоял и смотрел на реку, мысленно предвосхищая ее путь, рисуя себе всякие чудеса о тех краях, куда она течет, и хотя воображение мое быстро иссякало, я стремился все дальше, все дальше и, наконец, совсем терялся в созерцании невидимых далей. Вот видишь ли, мой милый, так же ограничены в своем кругозоре и так же счастливы были наши исполины-праотцы! Как простодушны их чувства и творения! Когда Улисс говорит о безбрежном море и беспредельной земле, это звучит так правдиво, человечно, искренне, наивно и таинственно. Что мне в том, если я ныне за любым школьником могу повторить, что земля кругла? Человеку нужно немного земли, чтобы благоденствовать на ней, и еще меньше, чтобы в ней покоиться.

А теперь я водворился здесь, в княжеском охотничьем замке. С хозяином его вполне можно ужиться: он человек простодушный и обходительный. Только его окружают странные люди, я никак не могу понять их. Едва ли они жулики, но и на честных людей не похожи. Иногда они кажутся мне честными, однако верить им я все же не могу. Досадно мне еще, что князь часто говорит о предметах, о которых знает понаслышке или по книгам, и при этом смотрит на них с чужой точки зрения. Он и во мне ценит больше ум и дарования, чем сердце, хотя оно — единственная моя гордость, оно одно источник всего, всей силы, всех радостей и страданий. Ведь то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня.

25 мая

У меня был один замысел, о котором я решил не писать вам, пока он не осуществится. Теперь уж все равно, раз из него ничего не вышло. Я хотел идти на войну; это была моя давняя мечта. Главным образом из-за этого я и поехал сюда с князем, так как он генерал Н-ской службы. Во время одной из прогулок он всячески меня разубеждал, и только в том случае, если бы это было страстное влечение, а не прихоть, мог бы я не внять его доводам.

11 июля

Говори что хочешь, а я не могу оставаться здесь дольше. Что мне делать у князя? Я начинаю скучать. Князь обходится со мной как нельзя лучше, и все же я не на своем месте. В сущности, у нас нет ничего общего. Ему нельзя отказать в уме, но уме весьма заурядном; его общество занимает меня не больше, чем чтение умело написанной книги. Пробуду здесь еще неделю, а затем опять пушусь в странствия. Удачнее всего я занимался здесь рисованием. Князь чувствует искусство и чувствовал бы еще больше, если бы не замкнулся в кругу плоских научных понятий и самой избитой терминологии. Случается, я скрежещу зубами, когда со всем жаром воображения открываю ему природу и искусство, а он, думая блеснуть, вдруг изрекает какую-нибудь прописную истину!

16 июля

Да, я только странник, только скиталец на земле! А чем вы лучше?

18 июля

Куда я собрался? Откроюсь тебе по секрету. Еще две недели мне придется пробыть здесь, а затем я надумал посетить н-ские рудники, но дело вовсе не в рудниках. Я хочу быть поближе к Лотте — вот и все. Я смеюсь над собственным сердцем... и потворствую ему.

29 июля

Нет, все хорошо! Все отлично! Мне быть ее мужем! О господи боже, меня сотворивший, если бы ты даровал мне это счастье, вся жизнь моя была бы непрерывной молитвой. Я не ропщу, прости мне эти слезы, прости мне тщетные мечты! Ей быть моей женой! Если бы я заключил в свои объятия прекраснейшее создание на земле...

Я содрогаюсь всем телом, Вильгельм, когда Альберт обнимает ее стройный стан.

Сказать ли правду? А почему бы не сказать, Вильгельм? Со мной она была бы счастливее, чем с ним! Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы ее сердца. В нем нет чуткости... Как бы это объяснить? Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, где наши с Лоттой сердца бьются согласно; и в сотне других случаев, когда нам приходится выражать свои чувства по поводу поведения третьего лица. Зато, милый Вильгельм, он любит ее всей душой, а такая любовь заслуживает всяческой награды!

Докучный посетитель прервал меня. Слезы мои высохли. Я отвлекся. Прощай, мой милый!

4 августа

Это не только мой удел. Всем людям изменяют надежды, всех обманывают ожидания. Я навел на мою знакомую в домике под липой. Старший мальчуган выбежал мне навстречу; его радостный возглас привлек и мать. Она казалась подавленной, и первые слова ее были: «Вот горе-то, милый барин, мой Ганс помер!» Это был младший из детей. Я онемел. «А муж мой, — продолжала она, — воротился из Швейцарии ни с чем. Добрые люди помогли, а иначе ему пришлось бы побираться дорогой; и вернулся больной, в лихорадке». Я не знал, что сказать ей, и дал мальчику какую-то мелочь; она попросила меня принять в подарок несколько яблок, я взял их и покинул место печальных воспоминаний.

21 августа

Во мне поминутно происходят какие-то перемены. Порой жизнь снова хочет улыбнуться мне, — увы, лишь на миг! Когда я забудусь в

мечтах, у меня против воли возникает мысль: что, если бы Альберт умер? Тогда бы я и она... И я гонюсь за этой химерой, пока она не приводит меня к безднам, от которых я отступаю с содроганием.

Я выхожу за город тем самым путем, по которому впервые вез Лотту на танцы, — все тогда было по-иному! И все, все миновало! Ни намека на прежнее, ни тени тех чувств, которыми тогда билось мое сердце. То же должен испытывать дух умершего, возвращаясь на развалины сгоревшего замка, который он, будучи владетельным князем, в расцвете сил воздвиг и украсил всеми дарами роскоши, а умирая, с упованием завещал своему любимому сыну.

3 сентября

Порой мне непонятно, как может и смеет другой любить ее, когда я так безраздельно, так глубоко, так полно ее люблю, ничего не знаю, не ведаю и не имею, кроме нее!

4 сентября

Да, ничего не поделаешь! Как природа клонится к осени, так и во мне и вокруг меня наступает осень. Листья мои блекнут, а с соседних деревьев листья уже облетели. Кажется, я писал тебе вскоре после приезда об одном крестьянском парне? Теперь я снова осведомился о нем в Вальхейме; мне ответили, что его прогнали с места и больше никто ничего не слышал о нем. Вчера я встретил его невзначай по дороге в другое село; я заговорил с ним, и он рассказал мне свою историю, которая особенно тронула меня, как ты без труда поймешь из моего пересказа. Впрочем, к чему это? Отчего не храню я про себя то, что меня мучит и оскорбляет? Зачем огорчаю тебя? Зачем постоянно даю тебе повод жалеть и бранить меня? Ну, все равно! Быть может, и это мой удел.

С тихой грустью, в которой чувствовалась некоторая робость, парень сперва только отвечал на мои вопросы; но очень скоро, осмелев, как будто опомнившись и освоившись со мной, он покаялся мне в своих проступках и пожаловался на свои беды. Как бы мне хотелось, друг мой, представить на твой суд каждое его слово!

Он признался мне, и даже с увлечением, упиваясь радостью воспоминаний, рассказал, что страсть его к хозяйке росла день ото дня, что под конец он не знал, что делает, что говорит, не знал, куда себя девать. Не мог ни есть, ни пить, ни спать; кусок застревал у него в горле; он делал не то, что надо; а что ему поручали, забывал сделать; как будто бес какой вселился в него; и вот однажды, зная, что она пошла на чердак, он пошел, или, вернее, его потянуло за ней следом. Она не стала слушать его мольбы, тогда он решил овладеть ею силой; он сам не помнит, что с ним случилось, и призывает бога в свидетели, что намерения его всегда были честные и ничего он так не желал, как обвенчаться с ней и прожить вместе весь век. Рассказав это, он вдруг стал запинаться, как будто хотел сказать еще что-то и боялся говорить начистоту; наконец он мне поведал, все еще смущаясь, что она разрешала ему кое-какие вольности и допускала между ними некоторую близость. Он прервал себя два-три раза и снова клялся и божился, что вовсе не хочет, как он выразился, очернить ее, он любит и уважает ее по-прежнему, и такие слова никогда не сошли бы у него с языка, если бы он не хотел мне доказать, что не совсем уж он выродок и сумасшедший. И тут, любезный друг, я опять завожу свою старую песню, которую не устану твердить. Если бы я мог изобразить тебе этого парня таким, как он стоял передо мной, каким стоит до сих пор! Если бы я мог найти настоящие слова, чтобы ты почувствовал, как трогает, как должна трогать меня его участь! Но довольно об этом! Ты знаешь мою собственную участь, знаешь меня самого и потому без труда поймешь, что? именно влечет меня ко всем несчастным, а к этому в особенности.

Перечитывая письмо, я заметил, что забыл досказать конец моей истории; впрочем, он и так ясен. Хозяйка стала сопротивляться. На помощь подросел ее брат, а тот давно уже выживал моего знакомого, боясь, как бы из-за вторичного замужества сестры от его детей не ускользнуло богатое наследство, на которое они рассчитывают, потому что сама она бездетна; братец прямо вытолкнул его из дома и так раззвонил об этом повсюду, что хозяйка, если бы и захотела, не могла бы взять его обратно. Теперь она наняла нового работника; из-за него она, говорят, тоже ссорится с братом, и все в один голос твердят, что она решила выйти за него, — этого уж, сказал мой знакомец, он никак не потерпит.

Все, что я тебе рассказываю, ничуть не преувеличено и не смягчено, наоборот, по-моему, я ослабил, очень ослабил и огрубил рассказ, потому что излагал его языком общепринятой морали.

Значит, такая любовь, такая верность, такая страсть вовсе не поэтический вымысел; она живет, она существует в нетронутой чистоте среди того класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. А мы от нашей образованности потеряли образ человеческий! Прощу тебя, читай мой рассказ с благоговением! Я сегодня весь как-то притих, записывая его; ты видишь по письму, что я не черкаю и не мараю, как обычно. Читай, дорогой мой, и думай, что такова же история твоего друга! Да, так было и так будет со мной, а у меня и вполтину нет мужества и решительности того бедного горемыки, с которым я даже не смею себя равнять.

5 сентября

Она написала своему мужу записочку в деревню, где он находится по делам. Записка начиналась: «Дорогой, любимый, возвращайся как можно скорее! Жду тебя с несказанной радостью». Тут как раз явился один приятель и сообщил, что по некоторым причинам мужу придется задержаться. Записка не была отослана, а вечером попала мне в руки. Я прочел ее и улыбнулся; она спросила, чему я улыбаюсь. «Воображение — поистине дар богов! — вскричал я. — Я на миг вообразил, будто это написано мне». Она прервала разговор, он явно был ей неприятен, я замолчал тоже.

6 сентября

Долго я не решался сбросить тот простой синий фрак, в котором танцевал с Лоттой; но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый, такой же точно, с такими же отворотами и обшлагами, и к нему опять желтые панталоны и жилет.

Все же он не так мне приятен. Не знаю... может быть, со временем я полюблю и его.

12 сентября

Она уезжала на несколько дней за Альбертом. Сегодня я вошел к ней в комнату; она поднялась мне навстречу, и я с невыразимой радостью поцеловал ее руку. С зеркала вспорхнула и села к ней на плечо канарейка. «Новый друг! — сказала она и приманила птичку к себе на руку. — Я купила ее для моих малышек. Посмотрите, какая прелесть! Когда я даю ей хлеба, она машет крылышками и премило клюет. И целует меня, смотрите!» Она подставила птичке губы, и та прильнула так нежно к милым устам, словно ощущала всю полноту счастья, которое было ей дано.

«Пусть поцелует и вас», — сказала она и протянула мне канарейку. Клювик проделал путь от ее губ к моим, и когда он щипнул их, на меня повеяло предчувствием сладостного упоения.

«В ее поцелуе есть доля алчности, — заметил я. — Она ищет пропитания, и пустая ласка не удовлетворяет ее».

«Она ест у меня изо рта», — сказала Лотта и протянула ей несколько крошек, зажав их между губами, на которых сияла улыбка невинно-участливой любви. Я отвернулся. Зачем она это делает? Зачем раздражает мое воображение картинами неземной чистоты и радости, зачем будит мое сердце от сна, в который погружает его порой равнодушие к жизни? Впрочем, что я? Она так мне верит! Она знает, как я люблю ее!

15 сентября

Меня бесит, Вильгельм, когда я вижу людей, не умеющих ценить и беречь то, что еще есть хорошего на земле. Ты, конечно, помнишь ореховые деревья, под которыми мы сидели с Лоттой у славного ш-ского пастора, великолепные ореховые деревья, всегда доставлявшие мне истинное наслаждение. Какой уют, какую прохладу давали они пасторской усадьбе, какие они были ветвистые! И сколько с ними связано воспоминаний о почтенных священнослужителях, посадивших их в давно минувшие годы! Школьный учитель слышал от своего деда имя одного из них и не раз его поминал: прекрасный, говорят, был человек, и я свято чтю его память под сенью этих деревьев. Поверишь ли, учитель со слезами на глазах говорил вчера о том, что их срубили. Срубили! Я вне себя от бешенства! Я способен прикончить того мерзавца, который нанес им первый удар. Если бы у меня во дворе росли такие деревья и одно из них погибло от старости, я бы горевал всей душой, а чему мне теперь приходится быть свидетелем! Одно только отраднo, дорогой друг! Есть еще человеческие чувства! Все село ропщет, и, надо надеяться, пасторша ощутит на масле, яйцах и прочих приношениях, какую рану она нанесла своему приходу. Ибо зачинщица всему она, жена нового пастора (наш старик уже умер). Хилое, хворое создание, имеющее веские причины относиться неприязненно к миру, потому что она-то никому не внушает приязни. Она глупа, а мнит себя ученой, говорит о пересмотре канона, ратует за новомодное морально-критическое преобразование христианства, пожимает плечами по поводу лафатеровских фантазий, а сама так больна, что не в состоянии радоваться божьему миру. Только такая тварь и могла срубить мои ореховые деревья. Подумай, я никак не могу прийти в себя!.. От палых листьев у нее, видишь ли, грязно и сыро во дворе, деревья заслоняют ей свет, а когда поспевают орехи, мальчишки сбивают их камнями, и это действует ей на нервы, это мешает ее глубоким размышлениям, мешает взвешивать сравнительные достоинства Кенникота, Землера и Михаэлиса. Видя недовольство обитателей села и в особенности стариков, я спросил их: «Как же вы это потерпели?» — «У нас, когда староста чего захочет, против его воли не пойдешь». А все-таки есть на свете справедливость! Пастору самому несладко приходится от жениных причуд, так он решил хоть извлечь из них прибыль и поделиться ею со старостой. Об этом проведала палата и заявила: «Руки прочь!» (Она издавна предъявляла права на ту часть пасторской усадьбы, где стояли деревья) — и продала их с торгов. И вот они лежат. Ах, будь я государем, я бы показал всем им — пасторше, старосте и палате... Государем! Да будь я государем, разве трогали б меня деревья в моей стране!

10 октября

Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно, — Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он... надеялся, а я... был бы счастлив, если бы... Я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу и выражаюсь, по-моему, достаточно понятно.

12 октября

Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир вводит меня этот великан! Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана, при тусклом свете луны, гонит души предков, слушать с гор сквозь рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный! И вот я вижу его, седого странствующего барда, он ищет на обширной равнине следы от шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы и, стоная, поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклонный луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их увитый цветами победоносный корабль; я читаю глубокую скорбь на его челе, я вижу, как, изнывая в одиночестве, бредет к могиле последний из великих, как впивает все новые, мучительно-жгучие радости от бесплотного присутствия родных теней и, глядя на холодную землю, на высокую колышущуюся траву, восклицает: «Придет, придет тот странник, что знал меня в моей красе, и спросит он: где же певец, прекрасный сын Фингала? Стопы его попирают мою могилу, и тщетно меня он ищет на земле». И тут, о друг, мне хочется, подобно благородному оруженосцу, обнажить меч, разом освободить моего господина от мучительных судорог медленного умирания и послать вслед освобожденному полубогу собственную душу.

19 октября

Ах, какая пустота, какая мучительная пустота у меня в груди! Часто мне кажется, если бы я мог хоть раз, один только раз прижать ее к сердцу, вся пустота была бы заполнена.

26 октября

Да, мне ясно, дорогой мой, мне ясно и с каждым днем все яснее, что жизнь одного человека значит мало, почти ничего не значит. К Лотте пришла подруга, а я ушел в соседнюю комнату достать книгу, но читать не мог и взялся за перо. Мне был слышен их тихий разговор; они

рассказывали друг другу какие-то незначительные истории, городские новости: эта вышла замуж, та больна, очень больна. У нее сухой кашель, а лицо — кожа да кости, и с ней часто бывают обмороки. «Я за ее жизнь дорого не дам», — говорила гостя. «Н. Н. тоже плох», — заметила Лотта. «Он весь распух», — подхватила та. И мое воображение перенесло меня к постели страдальцев; я видел, с какой неохотой уходят они из жизни, как они... ах, Вильгельм!.. А мои дамочки говорили об этом, как обычно говорят о смерти постороннего. И когда я оглядываюсь и вижу эту комнату и повсюду платья Лотты и бумаги Альберта и вещи, с которыми я так свыкся, даже с этой чернильницей, я говорю себе: «Что ты значишь для этого дома! Рассуди здраво. Друзья чтут тебя! Они видят от тебя столько радостей, и сам ты как будто не мог бы жить без них; и все же — уйди ты, покинь их круг, ощутили бы они, и надолго ли ощутили, пустоту в своей жизни от разлуки с тобой? Надолго ли?» Ах, такова бренность человека, что даже там, где он по-настоящему утверждает свое бытие, где создается единственно верное впечатление от его присутствия, — в памяти и в душе его близких, даже и там суждено ему угаснуть, исчезнуть — и так быстро!

27 октября

Часто мне хочется разодрать себе грудь и размокнуть голову оттого, что люди так мало способны дать друг другу. Увы, если во мне самом нет любви, радости, восторга и жара, другой не подарит мне их, и, будь мое сердце полно блаженства, я не сделаю счастливым того, кто стоит передо мной, бесчувственный и бессильный.

Вечером

Мне так много дано, но чувство к ней поглощает все; мне так много дано, но без нее нет для меня ничего на свете.

30 октября

Сотни раз был я готов броситься ей на шею. Один бог ведает, легко ли видеть, как перед глазами мелькает столько прелести, и не иметь права схватить ее. Ведь человек по природе своей захватчик! Хватают же дети все, что им вздумается? А я?

3 ноября

Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой никогда не проснуться; утром я открываю глаза, вижу солнце и впадаю в тоску. Хорошо бы обладать вздорным характером и сваливать вину на погоду, на третье лицо, на неудавшееся предприятие! Тогда несносное бремя досады тяготело бы на мне лишь вполовину. А я, увы, слишком ясно понимаю, что вся вина во мне самом, — впрочем, какая там вина! Все равно, во мне самом источник всяческих мучений, как прежде был источник всяческого блаженства.

Ведь я все тот же, но раньше я упивался всей полнотой ощущений, на каждом шагу открывал рай, и сердце имел достаточно вместительное, чтобы любовно объять целый мир. А теперь мое сердце умерло! Оно больше не источает восторгов, глаза мои сухи, чувства не омыты отрадными слезами, и потому тревожно хмурится чело. Я страдаю жестоко, ибо я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни, исчезла священная животворная сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры! Теперь я смотрю в окно и вижу, как солнце разрывает туман над дальними холмами и озаряет тихие долины, а мирная река, извиваясь, бежит ко мне между оголенными ивами, и что же? — Эта дивная природа мертва для меня, точно прилизанная картинка: и вся окружающая красота не в силах перекачать у меня из сердца в мозг хоть каплю воодушевления, и я стою перед лицом божьим, точно иссякший колодец, точно рассохшаяся бадья! Сколько раз падал я ниц и молил господа даровать мне слезы, как землепашец молит даровать дождь, когда небо так беспощадно, а земля истомилась от жажды. Но, увы! Я знаю, бог дает дождь и ведро не по нашим исступленным мольбам, и недаром терзает меня память о тех блаженных временах, когда я терпеливо ждал, чтобы дух его снизошел на меня, и всем признательным сердцем моим принимал благодать, изливаемую им на меня!

8 ноября

Она укоряла меня за невоздержанность, но как же ласково и бережно! А невоздержанность моя в том, что я иногда соблазнюсь стаканом вина и выпью целую бутылку.

«Не делайте этого! — сказала она. — Постарайтесь думать о Лотте!» — «Думать! Неужто вам надо приказывать мне это, — возразил я. — Думаю я или не думаю — все равно вы всегда стоите перед моим духовным взором. Сегодня я сидел на том месте, где вы недавно выходили из кареты...»

Она перевела разговор, чтобы прекратить мои излияния. Любезный друг, я погиб! Она вертит мною как хочет!

15 ноября

Благодарю тебя, Вильгельм, за сердечное участие, за доброжелательный совет и прошу лишь об одном — не тревожься. Дай мне перетерпеть! Как я ни измучен, у меня достанет силы выстоять. Я чту религию, ты знаешь это; я понимаю, что многим павшим духом она служит опорой, многим отчаявшимся — утешением. Но может ли, должна ли она быть этим для каждого? Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет, — так почему она должна помочь мне? Ведь говорит же сын божий, что те лишь пребудут с ним, кого дал ему отец! А что, если я не дан ему? Что, если, как подсказывает мне сердце, отец хочет меня оставить себе? Прошу тебя, не истолкуй этого ложно, не усмотри глумления в искренних словах моих! Ведь я раскрываю перед тобой всю душу; а иначе мне лучше было бы молчать, ибо я вообще неохотно говорю о том, что всякий знает не больше моего. Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна — таков удел человека. И если господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обесилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: «Боже мой! Боже мой! Для чего

ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток?

21 ноября

Она не видит, не понимает, что сама готовит смертельную отраву для меня и для себя: и я с упоением пью до дна кубок, который она протягивает мне на мою погибель. Отчего она часто... часто ли?... Пусть не часто, но иногда смотрит на меня приветливым взглядом, отчего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства, отчего на лице ее написано сострадание к моим мукам?

Вчера она, прощаясь, протянула мне руку и сказала: «До свидания, милый Вертер!» Милый Вертер! В первый раз назвала она меня милым, и я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова, а вечером, ложась спать и болтая всякую всячину сам с собой, сказал внезапно: «Покойной ночи, милый Вертер!» — и даже сам потом посмеялся над собой.

22 ноября

Я не могу молиться: «Оставь мне ее!» — хоть мне и кажется часто, что она моя. Я не могу молиться: «Дай мне ее!» — она принадлежит другому. Я мудрствую над своими страданиями; если бы я не обуздывал себя, сравнениям и сопоставлениям не было бы конца.

24 ноября

Она чувствует, как я страдаю. Сегодня взгляд ее проник мне глубоко в сердце. Я застал ее одну; я не говорил ни слова, а она смотрела на меня. И я видел уже не пленительную красоту ее, не сияние светлого ума; все это исчезло для меня. Я был заморожен куда более прекрасным взглядом, исполненным сердечного участия, нежнейшего сострадания. Почему нельзя мне было упасть к ее ногам? Почему нельзя было броситься ей на шею и ответить градом поцелуев? Она нашла себе прибежище у фортепьяно и заиграла, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. Никогда еще не были так пленительны ее губы, казалось, они, приоткрываясь, жадно впитывают сладостные звуки инструмента, и лишь нежнейший отголосок слетает с этих чистых уст. Ах, разве можно выразить его! Я не устоял; склонившись, дал я клятву: «Никогда не дерзну я поцеловать вас, уста, осененные небесными духами!» И все же... понимаешь ты, передо мной точно какая-то грань... Мне надо ее перешагнуть... вкусить блаженство... а потом, после падения, искупить грех! Полно, грех ли?

26 ноября

Порой я говорю себе: «Твоя участь беспримерна!» — и называю других счастливыми. Еще никто не терпел таких мучений! Потом начну читать поэта древности, и мне чудится, будто я заглядываю в собственное сердце. Как я страдаю! Ах, неужто люди бывали так же несчастливы до меня?

30 ноября

Нет, нет, мне не суждено прийти в себя. На каждом шагу я сталкиваюсь с явлениями, которые выводят меня из равновесия. И сегодня! О, рок! О, люди!

Я шел по берегу; время было обеденное, но есть мне не хотелось. Кругом ни души, сырой вечерний ветер дул с гор, и серые дождевые тучи заволакивали долину. Издалека завидел я человека в поношенном зеленом платье: он карабкался по скалам и, должно быть, искал целебные травы. Когда я подошел ближе и он обернулся на шум моих шагов, я увидел выразительное, открытое и простодушное лицо, главную черту которого составляла покорная печаль; черные волосы его были заколоты в две букли, а сзади заплетены в толстую косицу, свисавшую на спину. Судя по одежде, это был человек низкого звания, и я решил, что он не обидится, если я поинтересуюсь его занятием, а потому спросил его, что он ищет. «Я ищу цветы, — отвечал он с глубоким вздохом. — Только нет их нигде». — «Да, время года неподходящее», — заметил я, улыбнувшись. «Их много, всяких цветов, — сказал он, спускаясь ко мне. — У меня в саду цветут розы и жимолость двух сортов; одну подарил мне отец, она растет, как сорная трава; второй день ищу ее и не могу найти. Тут на воле всегда водятся цветы: желтые, голубые, красные, а у полевой гвоздички такие красивые цветики. Только вот найти ни одного не могу». Я почувствовал что-то неладное и спросил осторожно: «А на что вам цветы?» Лицо его передернулось странной, судорожной усмешкой. «Смотрите, только не выдайте меня, — сказал он, прикладывая палец к губам. — Я обещал букет моей милой». — «Дело хорошее», — заметил я. «Ну, у нее и без того всего много, она богата», — пояснил он. «И все-таки ей дорог ваш букет!» — подхватил я. «У нее и драгоценные камни, и корона есть», — продолжал он. «Как же ее зовут?» «Вот если бы генеральные штаты заплатили мне, — перебил он, — я бы зажил по-другому. Да, были и у меня хорошие времена! А теперь что я? Пропавший человек? Теперь мне...» Поднятый к небесам увлажненный взгляд был достаточно красноречив. «Значит, прежде вы были счастливы?» — спросил я. «Лучшего счастья мне не надо!» — ответил он. — Я жил, как рыба в воде, привольно, весело, легко!»

На дороге показалась старуха. «Генрих! — крикнула она. — Генрих, где ты запропастился? Мы тебя ищем, ищем! Иди обедать!» — «Это ваш сын?» — спросил я, подходя к ней. «Да, батюшка, мой горемычный сын! — ответила она. — Тяжкий крест послал мне господь». — «Давно он такой?» — спросил я. «Такой он с полгода. Слава богу, стал тихим, а то год буйным был: его держали связанным в сумасшедшем доме; теперь он никому зла не причиняет — все толкует про королей да государей. А какой был хороший, скромный человек. Он красиво писал, бумаги переписывал и мне помогал кормиться; потом вдруг загрустил, заболел горячкой, впал в буйство, а теперь, видите, какой стал... Знали б вы, батюшка...» Я остановил поток ее красноречия вопросом: «А что это были за времена, когда он, по его словам, жил так счастливо и привольно?» — «Вот глупенький-то! — воскликнула она с жалостливой улыбкой. — Это он хвалит те времена, когда был без памяти, сидел в сумасшедшем доме и себя не помнил». Ее слова меня как громом поразили, я сунул ей монету и поспешил уйти.

«Вот когда ты был счастлив, — воскликнул я, торопливо шагая по направлению к городу, — вот когда жил привольно, как рыба в воде! Боже правый! Неужто ты судил счастье только не вошедшим в разум или вновь утратившим его! Бедняга, а как я-то завидую твоему безумию и гибельному помрачению чувств! Ты бродишь зимой с надеждой нарвать букет твоей королеве! И горюешь, что не нашел цветов, и не понимаешь, почему ты их не нашел. — А я — я брожу без надежды и без цели и ни с чем возвращаюсь домой. Ты мечтаешь,

как бы ты зажил, если бы генеральные штаты заплатили тебе. Счастлив ты, что можешь приписать свое злосчастие земным препонам! Ты не чувствуешь, не понимаешь, что в твоём сокрушённом сердце, в твоём смятенном уме — причина всех горестей, и ни один король на свете не поможет тебе.

Будь проклят тот, кто посмеется над страдальцем, устремляющимся к отдалённому источнику, который лишь усугубит его болезнь и сделает мучительнее последние часы; будь проклят тот, кто возгордится перед несчастным, совершающим паломничество ко гробу господню, чтобы спастись от угрызений совести и утишить сердечную скорбь! Каждый шаг, который ранит ноги на непроторенной тропе, способен пролить каплю утешения в измученную душу, и после каждого трудного дня пути куда легче спится ночью. А вы, суесловы, смеете, нежась на перинах, называть это безумием! Безумие! О господи! Ты видишь мои слезы! Зачем же ты, и без того сотворивший человека нищим, дал ему ещё братьев, отнимающих у него последние крохи, последнее упование, которое он полагает на тебя, на тебя, вселюбящий. Ибо, уповая на целебный корень, на сок винограда, мы уповаем на тебя, на то, что все нас окружающее ты наделил целебной и благотворной силой, в которой мы нуждаемся ежечасно. Отец мой, неведомый мне! Отец, раньше заполнявший всю мою душу и ныне отвративший от меня свой лик! Призови меня к себе! Нарушь молчание. Молчанием своим ты не остановишь меня. Какой бы человек, какой отец стал гневаться, если бы к нему нежданно воротился сын и бросился ему на грудь, восклицая: „Я вернулся, отец мой! Не гневайся, что я прервал странствие, которое, по воле твоей, мне надлежало претерпеть дольше! Повсюду в мире все едино: страда и труд, награда и радость. Но что мне в них? Мне хорошо лишь там, где ты, и перед лицом твоим хочу я страдать и наслаждаться“. Неужели же ты, всеблагий небесный отец наш, отверг бы сына своего?

1 декабря

Вильгельм! Человек, о котором я писал тебе, тот счастливый несчастливек, служил писцом у отца Лотты, и любовь к ней, которую он питал, тайл, но не мог скрыть, за что и был уволен, свела его с ума. Почувствуй из этих сухих слов, как меня потрясла его история, когда Альберт рассказал мне ее так же равнодушно, как, возможно, ты будешь читать о ней.

4 декабря

Послушай, пойми меня, я погибший человек, я не в силах более терпеть! Сегодня я сидел у нее... я сидел, а она играла на фортепьяно разные мелодии, и в игре ее была вся глубина чувства. Вся, вся! Как это передать? Сестренка ее наряжала куклу на моем колене. У меня в глазах стояли слезы. Я нагнулся и увидел ее обручальное кольцо. Слезы брызнули из глаз моих. И сразу же она перешла на ту знакомую, старую мелодию, полную неземной нежности, и в душу мне пахнуло покоем, и вспомнилось прошедшее, те дни, когда я впервые слышал эту песню, а дальше началась мрачная полоса тоски, разбитых надежд, и потом... Я вскочил и зашагал по комнате. Я задыхался от нахлынувших чувств. «Ради бога! — вскричал я, в бурном порыве бросаясь к ней. — Ради бога, перестаньте!» Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Вертер! — сказала она с улыбкой, проникшей мне в душу. — Вертер, вы очень больны; даже самые любимые блюда противны вам. Уходите! И, прошу вас, успокойтесь!» Я оторвался от нее и... господи! Ты видишь мою муку, ты положишь ей конец.

6 декабря

Ах, этот образ, он преследует меня! Во сне и наяву теснится он в мою душу! Едва я сомкну веки, как тут, вот тут, под черепом, где сосредоточено внутреннее зрение, встают передо мной ее черные глаза. Как бы это объяснить тебе? Только я закрою глаза — они уже тут! Как море, как бездна, открываются они передо мной, во мне, заполняют все мои чувства, весь мозг.

Чего стоит человек, этот хваленый полубог! Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют. И когда он окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холодному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться в бесконечности.

От издателя к читателю

Как искренне желал я, чтобы о последних знаменательных днях жизни нашего друга сохранилось достаточно его собственных свидетельств и мне не потребовалось бы перемежать рассказом оставленные им письма.

Я почел своим долгом подробно расспросить тех, кто мог быть точно осведомлен об его истории; история эта очень проста, и рассказчики согласны между собой во всем, кроме отдельных мелочей; только относительно характеров действующих лиц мнения расходятся и оценки различны.

Нам остается лишь добросовестно пересказать все, что возможно было узнать путем сугубых стараний, присовокупить письма, оставленные усопшим, не пренебрегать ни малейшей из найденных записочек, памятуя о том, как трудно вскрыть истинные причины каждого поступка, когда речь идет о людях незаурядных.

Тоска и досада все глубже укоренялись в душе Вертера и, переплетаясь между собой, мало-помалу завладели всем его существом. Душевное равновесие его было окончательно нарушено. Лихорадочное возбуждение потрясло весь его организм и оказывало на него губительное действие, доводя до полного изнеможения, с которым он боролся еще отчаяннее, чем со всеми прежними напастями. Сердечная тревога подтачивала все прочие духовные силы его: живость, остроту ума; он стал несносен в обществе, несчастье делало его тем несправедливее, чем несчастнее он был. Так, по крайней мере, говорят приятели Альберта: они утверждают, что Вертер неправильно судил поведение этого порядочного и положительного человека, достигшего долгожданного счастья и желавшего сохранить это счастье на будущее, тогда как сам Вертер в один день поглощал все, что ему было дано, и к вечеру оставался ни с чем. Альберт, говорят его приятели, ничуть не переменялся за такой короткий срок, он был все тем же, каким с самого начала его знал, ценил и уважал Вертер. Он превыше всего любил Лотту, гордился ею и хотел, чтобы все почитали ее прекраснейшим созданием на земле. Можно ли судить его за то, что ему нестерпима была и тень подозрения, что он не желал ни на миг и ни с кем, даже в самом невинном смысле, делить свое бесценное сокровище? Правда, приятели признают, что он часто покидал комнату жены, когда Вертер сидел у нее, но отнюдь не по злобе и не из ненависти к другу, а потому, что чувствовал, как тягостно тому его присутствие.

Отец Лотты захворал и не мог выходить из дому; он послал за Лоттой экипаж, и она поехала к нему. Стоял прекрасный зимний день, первый снег толстым слоем покрывал всю местность.

Вертер на следующее утро отправился туда же, чтобы проводить Лотту домой, если Альберт не приедет за ней.

Ясная погода не могла развеселить его, тяжкий гнет лежал на его душе. Он приучился видеть только мрачные картины, и мысли его были одна беспробуднее другой.

Сам он был вечно не в ладу с собою и у других видел только беспокойство и разлад, он боялся, что нарушил доброе согласие между Альбертом и его женой, корил за это себя, но втайне возмущался мужем.

Дорогой мысли его вернулись к этому предмету. «Нет, — повторял он про себя с затаенной яростью, — какое там сердечное, ласковое, любовное, участливое отношение, какая там невозмутимая, нерушимая верность! Пресыщение и равнодушие — вот оно что! Всякое ничтожное дело привлекает его больше, чем милая, прелестная жена. Разве он ценит свое счастье? Разве чтит ее, как она того заслуживает? Она принадлежит ему, ну да, принадлежит... я это знаю, как знаю многое другое; хоть я и свыкся как будто с этой мыслью, она еще сведет меня с ума, она доконает меня. А разве дружба ко мне выдержала испытание? Нет, в самой моей привязанности к Лотте он видит посягательство на свои права, в моем внимании к ней усматривает безмолвный укор. Я чувствую, я знаю достоверно, ему неприятно меня видеть, он хочет, чтобы я уехал, мое присутствие тяготит его».

Не раз Вертер замедлял свой стремительный шаг, не раз останавливался и, казалось, думал повернуть назад, но тем не менее продолжал путь и так, размышляя и разговаривая сам с собой, как бы помимо воли добрался до охотничьего дома.

Он вошел, осведомился о старике и Лотте, заметил волнение в доме. Старший мальчик сказал ему, что в селении, в Вальхейме, случилось несчастье: убили одного крестьянина! Это известие не привлекло его внимания. Он вошел в комнату и застал Лотту в разгар спора с отцом: старик желал, невзирая на болезнь, самолично отправиться на место преступления. Преступник еще не был обнаружен, убитого нашли утром на пороге дома, имелись кое-какие подозрения: покойный служил в работниках у одной вдовы, которая держала раньше другого работника и не добром рассталась с ним.

Услышав эти слова, Вертер стремительно вскочил. «Быть не может! — воскликнул он. — Я сейчас же, сию минуту бегу туда». Он поспешил в Вальхейм, воспоминания оживали перед ним, он ни минуты не сомневался, что убийство совершил тот самый парень, который не раз беседовал с ним и так стал ему близок.

Ему пришлось пройти под липами, чтобы добраться до харчевни, куда отнесли тело, и вид любимого уголка на этот раз ужаснул его. Порог, где так часто играли соседские дети, был запачкан кровью. Любовь и верность — лучшие человеческие чувства — привели к насилию и убийству. Могучие деревья стояли оголенные и заиндевевшие, с пышной живой изгороди, поднимавшейся над низенькой церковной отрадой, облетела листва, и сквозь сучья виднелись покрытые снегом могильные плиты.

Едва он подошел к харчевне, перед которой собралось все село, как поднялся шум. Издалека показалась кучка вооруженных людей, и в толпе закричали, что ведут убийцу. Вертер стал смотреть вместе со всеми и убедился в своей правоте. Убийца был тот самый работник, который так любил свою хозяйку-вдову. Бедный малый бродил по окрестностям, полный затаенной злобы и тихого отчаяния, и еще недавно повстречался ему.

«Что ты сделал, несчастный!» — крикнул Вертер, бросаясь к арестованному. Тот посмотрел на него задумчиво, помолчал и наконец отчеканил невозмутимым тоном:

«Не бывать ей ни с кем и с ней никому не бывать!» Его ввели в харчевню, а Вертер поспешил прочь.

Это страшное, жестокое впечатление произвело в нем полный переворот, на миг потрянуло с него грусть, уныние, тупую покорность. Жалость властно захватила его, он решил во что бы то ни стало спасти того человека. Он так понимал всю глубину его страдания, так искренне оправдывал его даже в убийстве, так входил в его положение, что твердо рассчитывал внушить свои чувства и другим. Ему не терпелось встать на защиту несчастного, пламенные речи просились с его губ, он спешил в охотничий дом и по дороге уже приводил вполголоса все те доводы, с которыми выступит перед амтманом.

Войдя в комнату, он застал там Альберта и на миг растерялся, но вскоре снова овладел собой и поспешил изложить амтману свое мнение. Хотя Вертер с величайшей искренностью, горячностью и страстностью говорил все то, что может сказать человек в оправдание человека, старик покачивал головой, — как и следовало ожидать, ничуть не тронутый его словами. Наоборот, он прервал нашего приятеля, стал резко возражать ему и порицать за то, что он берет под защиту убийцу. Затем указал, что таким путем недолго упразднить все законы и подорвать устои государства, и в заключение добавил, что не может взять на себя ответственность в подобном деле, а должен дать ему надлежащий законный ход.

Вертер все еще не сдавался, он просил, чтобы амтман хотя бы посмотрел сквозь пальцы, если арестованному помогут бежать. Амтман не согласился и на это. Наконец, в разговор вмешался Альберт и тоже встал на сторону старика. Вертер оказался в меньшинстве и, глубоко удрученный, отправился домой, после того как амтман несколько раз повторил: «Ему нет спасения!»

Как сильно он был потрясен этими словами, видно из записочки, найденной среди его бумаг и относящейся, очевидно, к тому же дню:

«Тебе нет спасения, несчастный! Я вижу, что нам нет спасения».

Все, что Альберт напоследок в присутствии амтмана говорил о деле арестованного, до крайности возмутило Вертера: ему почудился в этом выпад против него самого, и хотя по зрелом размышлении он разумом понял, что оба его собеседника правы, у него все же было такое чувство, что, допустив и признав их правоту, он отречется от своей внутренней сущности.

Среди бумаг его мы нашли запись, которая касается этого вопроса и, пожалуй, исчерпывающе выражает его отношение к Альберту:

«Сколько бы я ни говорил и ни повторял себе, какой он честный и добрый, — ничего не могу с собой поделать, — меня от него с души воротит; я не в силах быть справедливым».

Вечер был теплый, начало таять, и потому Лотта с Альбертом отправились домой пешком. Дорогой она то и дело оглядывалась, как будто искала Вертера. Альберт заговорил о нем, порицая его и все же отдавая должное его достоинствам. Попутно он коснулся его несчастной страсти и заметил, что хорошо было бы удалить его.

— Я желаю этого также ради нас с тобой, — сказал он, — и прошу тебя, постарайся изменить характер его отношений к тебе, не поощряй его частых визитов. Это всем бросается в глаза. Я знаю, что уже пошли пересуды.

Лотта промолчала; Альберта, по-видимому, задело ее молчание, во всяком случае, он с тех пор не упоминал при ней о Вертере, когда же упоминала она сама, он либо обрывал разговор, либо переводил его на другую тему.

Безуспешная попытка спасти несчастного была последней вспышкой угасающего огня; с тех пор Вертер еще глубже погрузился в тоску и бездействие и чуть не дошел до исступления, когда услышал, что его думают вызвать свидетелем против обвиняемого, который решил теперь все отрицать.

Он мысленно перебирал свои промахи на служебном поприще, припомнил и неприятность, постигшую его, когда он состоял при посольстве, а заодно и все, в чем он когда-нибудь не успел, чем был обижен. Во всем этом он находил оправдание своей праздности, не видел для себя никакого исхода, считал себя неспособным к повседневным житейским трудам, и так, отдавшись этому своеобразному течению мыслей и своей всепоглощающей страсти, проводя время в однообразном и безрадостном общении с милой и любимой женщиной, тревожа ее покой, расшатывая свои собственные силы, без смысла и надежды растрачивая их, он неудержимо приближался к печальному концу.

О его смятении и муках, о том, как, не зная покоя, метался он из стороны в сторону, как опостылела ему жизнь, красноречиво свидетельствуют несколько оставшихся после него писем, которые мы решили привести здесь.

12 декабря

Дорогой Вильгельм, я сейчас уподобился тем несчастным, о которых говорили, что они одержимы злым духом. Временами что-то находит на меня: не тоска, не страсть, а что-то непонятное бушует внутри, грозит разорвать грудь, перехватывает дыхание! Горе мне, горе! В такие минуты я пускаюсь бродить посреди жуткого, в эту неприветную пору, ночного ландшафта.

Вчера вечером меня потянуло из дому. Внезапно наступила оттепель, мне сказали, что река вышла из берегов, все ручьи вздулись и затопили милую мою долину вплоть до Вальхейма. Ночью, после одиннадцати, побежал я туда. Страшно смотреть сверху с утеса, как бурлят при лунном свете стремительные потоки, заливая все вокруг; рощи, поля и луга, и вся обширная долина — сплошное море, бушующее под рев ветра! А когда луна выплывала из черных туч и передо мной грозно и величаво сверкала и гремел бурный поток, тогда я весь трепетал и рвался куда-то! Стоя над пропастью, я простирал руки, и меня влекло вниз! Вниз! Ах, какое блаженство сбросить туда вниз мои муки, мои страдания! Умчаться вместе с волнами! Увы! Я не мог сдвинуться с места, не мог покончить разом со всеми муками! Я чувствую, срок мой еще не вышел! Ах, Вильгельм! Я без раздумья отдал бы свое бытие за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки. О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?

С какой грустью смотрел я вниз, отыскивая глазами местечко под ивой, где мы с Лоттой после прогулки отдыхали от зноя, я едва узнал иву, все кругом тоже было затоплено, Вильгельм! «А луга и все окрестности охотничьего дома! — думал я. — Как, должно быть, пострадала от этого потопа наша беседка!» И прошлое солнечным лучом согрело мне душу, как пленника — сон о стадах, лугах и почестях! А я стоял! Я не браню себя, у меня достанет мужества умереть. Но лучше бы... И вот я сижу, как старая нищенка, которая собирает щепки под заборами и выпрашивает корки хлеба у дверей, чтобы хоть немного продлить и скрасить свое жалкое, безрадостное существование.

14 декабря

Друг мой, что же это такое? Я боюсь самого себя. Неужто любовь моя к ней не была всегда благоговейнейшей, чистейшей братской любовью? Неужто в душе моей таились преступные желания? Не смею отрицать... К тому же эти сны! О, как правы были люди, когда приписывали внутренние противоречия влиянию враждебных сил! Сегодня ночью — страшно сознаться — я держал ее в объятиях, прижимал к своей груди и осыпал поцелуями ее губы, лепетавшие слова любви, взор мой тонул в ее затуманенном негой взоре! Господи! Неужто я преступен оттого, что для меня блаженство — со всей полнотой вновь переживать те жгучие радости? Лотта! Лотта! Я погибший человек! Ум мой мутится, уже неделю я сам не свой, глаза полны слез. Мне повсюду одинаково плохо и одинаково хорошо. Я ничего не хочу, ничего не прошу. Мне лучше уйти совсем.

Решение покинуть мир все сильнее укреплялось в душе Вертера в ту пору, чему способствовали и разные обстоятельства. С самого возвращения к Лотте это было последним его прибежищем, последней надеждой; однако он дал себе слово, что это не будет шальной и необдуманной шаг, он совершит его с ясным сознанием, с твердой и спокойной решимостью.

Его сомнения, его внутренняя борьба раскрываются в записи без числа, составлявшей, по-видимому, начало письма к Вильгельму и найденное среди его бумаг.

«Ее присутствие, ее участь, ее сострадание к моей участи только и могут еще исторгнуть слезы из моего испепеленного сердца.

Поднять завесу и скрыться за ней! Вот и все! К чему же мешкать и колебаться? Потому, что мы не знаем, каково там, за этой завесой? И потому, что возврата оттуда нет? И еще потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где все для нас неизвестность».

Мало-помалу он освоился и сроднился с печальной мыслью, и намерение его утвердилось бесповоротно, о чем свидетельствует нижеследующее двусмысленное письмо его к другу.

20 декабря

Только твое любящее сердце, Вильгельм, могло так откликнуться на мои слова. Да, ты прав: мне лучше уйти. Предложение твое возвратиться к вам не совсем улыбается мне; во всяком случае, я намерен сделать небольшой крюк, тем более что мы ожидаем длительных морозов и хороших дорог. Мне очень приятно, что ты собираешься приехать за мной; повремени только неделки две и дождись письма с дальнейшими моими планами. Нельзя срывать плод, пока он не созрел. А за две недели многое решится. Матушке моей передай, чтобы молилась за своего сына и простила все огорчения, какие я причинил ей. Такова уж моя доля — огорчать тех, кому я обязан дарить радость. Прощай, бесценный друг! Да будет с тобою благословение господне! Прощай!

Что происходило тем временем в душе Лотты, каковы были ее чувства к мужу и к несчастному ее другу, этого мы не дерзаем передать словами, но, зная ее натуру, можем понять многое, а чистая женская душа, заглянув в ее душу, пособолезнует ей.

Известно одно — она приняла твердое решение сделать все возможное, чтобы удалить Вертера, и медлила, лишь щадя его из сердечного дружеского участия, ибо знала, какой это будет для него тяжкой, почти что невыполнимой жертвой. Однако обстоятельства все настойчивее требовали от нее решительных действий; правда, муж брал пример с нее и не затрагивал этого вопроса, но тем важнее было ей на деле доказать, что своими помыслами она достойна его.

В тот самый день, когда Вертер написал только что приведенное письмо к другу, в воскресенье перед рождеством, он вечером пошел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, и припомнил те времена, когда неожиданно распахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, сладостями и яблоками приводило его в невыразимый восторг.

— Вы тоже получите подарочек, если будете умницей, — сказала Лотта, скрывая свое замешательство под милой улыбкой. — Вам достанется витая свечка и еще кое-что.

— А что, по-вашему, значит быть умницей? — вскричал он. — Лотта, дорогая! Каким мне быть, как себя вести?

— В четверг вечером — сочельник, придут дети и отец тоже, и каждый получит свое. Приходите и вы тогда, не раньше. — Вертер опешил. — Прошу вас, послушайте меня, — продолжала она, — иначе нельзя, пощадите мой покой, так не может, не может продолжаться.

Он отвел от нее взгляд и зашагал по комнате, повторяя сквозь зубы: «Так не может продолжаться!» Лотта почувствовала, в какое ужасное состояние привели его сказанные ею слова, и пыталась отвлечь его посторонними вопросами, но тщетно.

— Нет, Лотта, — вскричал он, — больше я вас не увижу!

— Да почему же? — запротестовала она. — Вы можете и должны видаться с нами, Вертер, только будьте благоразумны. Ах, зачем вы родились таким порывистым, зачем так страстно и упорно увлекаетесь всем, за что бы ни брались? Прошу вас, — повторила она, взяв его за руку, — будьте благоразумны! Сколько разнообразных наслаждений дарят вам ваши знания, ваши способности, ваш ум! Будьте же мужчиной! Отрешитесь от своей несчастной привязанности к той, кто может лишь жалеть вас. — Он заскрежетал зубами и мрачно посмотрел на нее. Она продолжала, не отпуская его руки: — На одно мгновение отрезвитесь, Вертер. Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? На что вам я, Вертер, именно я, собственность другого? На что вам это? Ох, боюсь я, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна?

Он выдернул свою руку и устремил на нее негодующий взгляд.

— Умно, — произнес он, — очень умно! Это, должно быть, мнение Альберта? Тонко! Очень тонко!

— Так всякий бы рассудил, — ответила она. — Неужто во всем мире не найдется девушки вам по сердцу? Превозможите себя, поищите, и, клянусь вам, вы ее найдете; меня уже давно пугает то, что вы за последнее время замкнулись в таком тесном кругу, это страшно и для вас и для нас. Превозможите же себя. Путешествие непременно рассеет вас! Ищите, найдите предмет, достойный вашей любви, а тогда возвращайтесь, и мы будем вместе наслаждаться благами истинной дружбы.

— Это стоило бы напечатать, — заметил он с холодной усмешкой, — и рекомендовать всем гувернерам. Милая Лотта! Потерпите еще немножко, не трогайте меня, и все образуется!

— С одним условием, Вертер, вы придете не раньше сочельника!

Он не успел ответить, как вошел Альберт. Они холодно поздоровались и принялись в смущении шагать взад и вперед по комнате. Вертер попытался завести незначительный разговор, но безуспешно. Альберт сделал ту же попытку, затем спросил жену о каких-то поручениях и, услышав, что они еще не выполнены, ответил ей, как показалось Вертеру, холодно и даже резко. Вертер хотел уйти и не решался, мешкал до восьми часов, меж тем как его досада и злоба все возрастали; наконец, когда был накрыт ужин, он взялся за трость и шляпу. Альберт пригласил его остаться, но он усмотрел в этом пустую любезность, холодно поблагодарил и удалился.

Вернувшись домой, он взял свечу из рук слуги, который хотел осветить ему, один вошел в комнату и громко зарыдал; потом гневно говорил сам с собой, метался из угла в угол и, наконец, бросился одетый на кровать, где и нашел его слуга, когда около одиннадцати отважился войти и спросить, не снять ли с барина сапоги. На это он согласился, но запретил слуге входить завтра в комнату, пока он не позовет.

Утром в понедельник, 21 декабря он написал Лотте нижеследующее письмо, после его смерти найденное запечатанным у него на письменном столе и врученное ей; оно писалось с перерывами, что явствует из самих обстоятельств, и я тоже помещаю его здесь по частям.

«Лотта, все решено, я должен умереть и пишу тебе об этом спокойно, без романтической экзальтации, в утро того дня, когда последний раз увижу тебя. В то время как ты, любимая, будешь читать эти строки, холодная могила уже укроет бранные останки мятущегося мученика, которому в последние мгновения жизни нет большей отрады, как беседовать с тобой. Я провел страшную и, увы, благодетельную ночь. За эту ночь окрепло и определилось мое решение умереть! Вчера, когда я оторвался от тебя, все чувства мои были возмущены, все разом прихлынуло к сердцу, и от безнадежного, безрадостного моего прозябания подле тебя на меня повеяло смертным холодом! Я едва добрался до своей комнаты, не помня себя бросился на колени, и ты, о боже, даровал мне последнюю усладу горячих слез! Тысячи намерений, тысячи надежд теснились в душе, но под конец прочно и безраздельно утвердилась последняя, единственная мысль: я должен умереть! Я лег спать, а сегодня утром в ясном спокойствии пробуждения та же мысль твердо и прочно живет в моем сердце: я должен умереть! Это вовсе не отчаяние, это уверенность, что я выстрадал свое и жертвую собой ради тебя. Да, Лотта, к чему скрывать? Один из нас троих должен уйти, и уйду я! О любимая, мое растерзанное сердце не раз язвила жестокая мысль — убить твоего мужа!.. Тебя!.. Себя!.. Да будет так! Когда ясным летним вечером ты взойдешь на гору, вспомни тогда обо мне, о том, как часто поднимался я вверх по долине, а потом взгляни на кладбище, на мою могилку, где ветер в лучах заката колышет высокую траву... Я был спокоен, когда начал писать, а теперь все так живо встает передо мной, и я плачу, точно дитя...»

Часов около десяти Вертер кликнул слугу и, пока одевался, сказал ему, что намерен на днях уехать: а потому надо вычистить платье и приготовить все в дорогу; кроме того, приказал затребовать отовсюду счета, собрать одолженные им книги, а беднякам, которым он оказывал помощь еженедельно, раздать пособие на два месяца вперед.

Он велел принести обед к себе в комнату и прямо из-за стола отправился к амтману, но не застал его дома. Задумчиво бродил он по саду, словно хотел на прощание взвалить на себя весь груз горьких воспоминаний.

Дети вскоре нарушили его одиночество, они бегали за ним, висли на нем, рассказывали наперебой: когда пройдет завтра, и послезавтра, и еще один день, тогда они поедут к Лотте на елку и получают подарки; при этом они расписывали всяческие чудеса, какие им сулило их нехитрое воображение.

— Завтра! И послезавтра, и еще один день! — вскричал он, нежно расцеловал их всех и хотел уйти, но тут самый младший потянулся что-то сказать ему на ушко и выдал ему тайну: старшие братья написали красивые новогодние поздравления — вот такие большущие! Одно для папы, одно для Альберта и Лотты, и для господина Вертера тоже написали; и преподнесут их утром на Новый год. Это было выше его сил, он сунул каждому по монетке, передал поклон отцу, вскочил на лошадь и, едва удерживая слезы, уехал.

Около пяти часов он возвратился домой и приказал горничной позаботиться, чтобы камин топился до ночи. Слуге он велел уложить в самый низ сундука книги и белье, а платье зашить. После этого он, должно быть, написал следующие строки своего последнего письма к Лотте.

«Ты не ожидаешь меня! Ты думаешь, я послушаюсь и не увижусь с тобой до сочельника! Нет, Лотта! Сегодня или никогда. В сочельник ты, дрожа, будешь держать в руках это письмо и оросишь его своими бесценными слезами. Так надо, так будет! О, как покойно мне оттого, что я решился!»

С Лоттой между тем происходило что-то странное. После разговора с Вертером она почувствовала, как тяжело будет ей с ним расстаться и как он будет страдать, покидая ее.

При Альберте она вскользь упомянула, что Вертер не придет до сочельника, и Альберт отправился верхом по соседству к одному должностному лицу, с которым у него были дела, и собирался там заночевать.

И вот она сидела одна, никого из братьев и сестер не было с ней, она сидела в тихой задумчивости, размышляя о своем положении. Она навеки связана с человеком, чью любовь и верность она знает, кому сама предана душой, чья положительность и постоянство словно созданы для того, чтобы честная женщина строила на них счастье своей жизни; она понимала, чем он всегда будет для нее и для ее детей. И в то же время Вертер так стал ей дорог, с первой минуты знакомства так ярко сказалось их духовное сродство, а длительное общение с ним и многое из пережитого вместе оставило в ее сердце неизгладимый след. Всем, что волновало ее чувства и мысли, она привыкла делиться с Вертером и после его отъезда непременно ощутила бы зияющую пустоту. О, какое счастье было бы превратить его сейчас в брата или женить на одной из своих подруг, какое счастье было бы вновь наладить его отношения с Альбертом!

Она перебрала мысленно всех подруг и в каждой видела какой-нибудь недостаток, ни одной не находила, достойной его.

В итоге этих размышлений она впервые до глубины души почувствовала, если не осознала вполне, что самое ее заветное, затаенное желание сохранить его для себя. Но наряду с этим понимала, что не может, не смеет сохранить его; невозмутимая ясность ее прекрасной души, которую ничто не могло замутить, теперь омрачилась тоской оттого, что пути к счастью ей закрыты. На сердце навалился гнет, и взор заволочило туманом.

Время подошло к половине седьмого, когда она услышала шаги на лестнице и тотчас узнала походку и голос Вертера, осведомлявшегося о ней; сердце у нее забилося, пожалуй, впервые при его появлении. Она предпочла бы сказать, что ее нет дома, но тут он вошел, и она встретила его растерянным и возмущенным возгласом. «Вы не сдержали слова!» — «Я ничего не обещал», — был его ответ. «Так могли бы хоть внять моей просьбе, — возразила она, — ведь я просила ради нас обоих, ради нашего покоя».

Она плохо понимала, что говорит, и не больше понимала, что делает, когда послала за кем-то из подруг, лишь бы ей не быть наедине с Вертером. Он достал принесенные с собой книги и спросил о каких-то других, а она попеременно желала, чтобы подруги пришли и чтобы не приходили. Горничная вернулась с известием, что обе приглашенные прийти не могут.

Она хотела было спорядиться, чтобы горничная сидела с работой в соседней комнате; Вертер шагнул из угла в угол, она подошла к фортепьяно и начала играть менуэт, но поминутно сбивалась. Наконец она овладела собой и с беспечным видом села возле Вертера, когда он занял обычное свое место на диване.

— У вас нечего почитать? — Оказалось, что нет. — В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Оссиана, я еще его не читала, все надеялась услышать в вашем чтении, но это до сих пор почему-то не получалось.

Он улыбнулся, пошел за тетрадь, но, когда взял ее в руки, его охватила дрожь и на глаза набежали слезы, когда он заглянул в нее. Он сел и стал читать.

— «Звезда вечерних сумерек, ты давно горишь на закате, твой лучистый лик выходит из-за туч, и гордо плывешь ты к своим холмам. Чего ты ищешь на равнине? Утих буйный ветер, издалека доносится рокот потока, и волны шумят у подножия дальних утесов; рой вечерних мошек, жужжа, кружится над полем. Чего же ты ищешь, прекрасное светило? Но, улыбнувшись, ты уходишь, и радостно играют вокруг тебя волны, лаская золото твоих волос. Прощай, спокойный луч! Явись, прекрасный свет великой души Оссиана!

И вот он является во всей своей мощи. Я вижу ушедших из жизни друзей, они собрались на Лоре, как в дни, давно минувшие. Фингал подобен туманному столбу; и с ним его герои, а там и барды песнопений: седой Уллин! И статный Рино! Альпин, пленительный певец! И ты, скорбящая Минона! Как же изменились вы, друзья, с тех пор что отшумели пиры на Сельме, когда мы состязались в песнях, подражая весенним ветеркам, колеблющим на холме тихонько шелестящую траву.

Тут вышла Минона, сияя красотой; взор ее был потуплен, и слезы стояли на глазах, а косы струились тяжелыми волнами, их развевал ветер, дующий с гор. И омрачились души героев, едва зазвучал ее волшебный голос, ибо не раз видели они могильный склеп Сальгара и мрачное жилище белой Кольмы, сладкоголосой Коальмы, покинутой на холме; Сальгар обещал ей прийти; но тьма сгустилась вокруг. Слушайте голос Кольмы, одиноко сидящей на холме.

Кольма

Ночь! И я одна, забытая в бурю на холме. Ветер свищет в ущельях. Поток стремится вниз с утеса. А я забыта в бурю на холме, и негде мне укрыться от дождя.

Выйди, месяц, из-за туч! Явитесь, звезды ночи! Пусть ваш свет укажет мне дорогу туда, где мой любимый отдыхает от трудов охоты, лежит с ним рядом спущенный лук, и усталые псы окружают его! А я сижу здесь одна на утесе, и под ним бурлит поток. Поток ревет, и буря бушует, и мне не слышен голос любимого.

Зачем же медлит мой Сальгар? Забыл, что дал он мне слово? Вот дерево, и вот утес, а рядом бурлит поток! Ты обещал прийти, когда настанет ночь; неужели заблудился, мой Сальгар? Я хотела бежать с тобой, покинуть гордых отца и брата! Давно роды наши враждуют, но мы не можем быть врагами, о Сальгар!

Замолкни на мгновенье, о ветер! Утихни на мгновенье, поток! Пусть голос мой звучит в долине, чтобы путник услышал меня! Сальгар, я тебя зову! Вот утес, вот дерево! Сальгар! Возлюбленный! И я здесь; что же ты медлишь прийти?

Взошла луна, в долине блестит поток, и камни скал сереют по склонам холма; но нет и нет Сальгара, собаки лаем не возвещают о нем. Я сижу здесь одна.

А кто ж те двое, что лежат внизу, в долине? Мой брат? Мой милый? Откликнитесь, друзья! Они не отвечают. Страх стеснил мне сердце! Увы, они убиты! Мечи их окровавлены в бою! О брат мой, брат! Зачем убил ты моего Сальгара? О мой Сальгар! Зачем ты убил моего брата? Я вас обоих так любила! Ты был прекрасен среди тысяч у холма! Он был грозен в сражении. Ответьте мне! Откликнитесь на голос мой, любимые! Увы! Они молчат, молчат навеки! И грудь их холодна, как грудь земли!

С уступов этого холма, с вершины, где воеет буря, отвечайте мне, духи мертвых! Говорите, я не испугаюсь! Куда ушли вы на покой? Где вас искать, в каких горных пещерах? Ни отзыва в вое ветра, ни шепота в дыхании бури.

Я сижу в тоске, я жду в слезах, когда настанет утро. Ройте могилу, друзья усопших, но не засыпайте ее, пока я не приду. Жизнь ускользает от меня, как сон, зачем мне оставаться среди живых? Здесь я буду жить с друзьями, у потока, близ гремящих скал. Когда стемнеет — на холме и над равниной засвищет ветер, мой дух восстанет в дыхании ветра и будет оплакивать смерть друзей. Охотник в шалаше услышит меня, и устрасится, и будет пленен моим голосом, так сладко буду я петь о моих друзьях, равно мною любимых!

Так ты пела, Минона, кроткая, стыдливая дочь Тормана. И мы рыдали над Кольмой, и омрачались наши души.

Тут с арфой вышел Уллин и спел нам песнь Альпина. Ласково звучал голос Альпина, а Рино душой подобен был огненной стреле. Но тесный гроб стал им жилищем, и голоса их отзвучали в Сельме.

Однажды Уллин вернулся с охоты, когда герои были еще живы, и услышал, как состязаются они в пенье на холме. Их песни были нежны, но печальны. Они оплакивали смерть Морара, первого в ряду героев. Его душа была, как душа Фингала, а меч — как меч Оскара, но он пал, и отец его сокрушался, и полны слез были глаза его сестры, полны слез глаза Миноны, сестры могучего Морара.

Как только зазвучала песнь Уллина, Минона скрылась, точно месяц на закате, когда, предвидя непогоду, он прячет за тучу свой прекрасный лик. И вместе с Уллином я ударил по струнам арфы, вторя песне скорби.

Рино

Ненастье миновало, сияет яркий полдень, рассеяв сумрак туч. Изменчивое солнце неверными лучами озаряет холм. Весь алый, бежит по

долине горной ручей. Ручей, как сладко твой рокот! Но слаще мне слышать голос. То голос Альпина, он скорбит об умершем. Голова его склонилась под бременем лет, глаза покраснели от слез. Альпин! Дивный певец! Зачем ты один на безмолвном холме? Зачем ты стонешь, как ветер в чаще леса, как волна у дальних берегов?

Альпин

Я плачу, Рино, об усопшем, и мой голос взывает к обитателям могил. Как ты величав на холме, как прекрасен среди сынов равнины, но ты падешь подобно Морару, и слезы прольются на твоей могиле. Холмы забудут о тебе, и твой спущенный лук будет лежать под сводами пещеры.

Ты был резв, Морар, как олень на холме, и страшен, как зарницы в темном небе. Твой гнев был грозой, твой меч сверкал в бою, подобно молниям над равниной, голос твой гремел, как лесной поток после дождей, как гром за дальними холмами. Многих сразила рука твоя, испепелило пламя твоего гнева. Когда же ты возвращался после битвы, твой голос звучал так мирно! Твой лик был ясен, как солнце после бури, как месяц в безмолвии ночи, а душа спокойна, точно озеро, когда утихли порывы ветра.

Тесно теперь твое жилище! Мрачен тот край, где ты обитаешь! Тремя шагами могу я измерить могилу того, кто был некогда так велик! Четыре камня, увенчанные мхом, — вот единственная о тебе память! Дерево без листьев да шуршащая под ветром высокая трава укажут охотнику могилу героя Морара. Нет у тебя матери, чтобы плакать над тобой, нет девушки, чтобы пролить слезы любви. Умерла родившая тебя, погибла дочь Морглана.

Кто там опирается на посох? Кто это, чьи кудри побелели от старости, а глаза красны от слез? Это твой отец, Морар, отец единственного сына. Он слышал, как ты прославился в битве, как рассеялись перед тобой враги, он слышал, как восхваляли тебя. Увы, о твоих ранах не слышал он. Плачь, плачь, отец Морара, твой сын услышит тебя. Сон мертвецов глубок, изголовьем им служит прах. Твой голос не достигнет его, твой зов его не пробудит. О, когда же настанет утро для обитателей могил и спящий услышит: „Проснись!“

Прости, благороднейший из смертных, воин-победитель. Не быть тебе больше на бранном поле, не озарять дремучего леса сверканьем клинка. Ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песне, и грядущие века услышат о тебе, услышат о тебе, услышат о Мораре, павшем в битве.

Громки были рыдания героев, но всего громче надрывный стон Армина. Ему вспомнилась смерть сына, погибшего в расцвете юных лет. Подле героя сидел Кармор, властитель шумного Галмала. Он спросил:

— Зачем так горестны рыдания Армина? О чем тут плакать? На то и песни, чтобы трогать и тешить душу. Они подобны легкому туману, который, поднимаясь с озера в долину, окропляет цветы живительной росой; но стоит подняться солнцу, и туман растает без следа. О чем ты сокрушаешься, Армин, владыка Гормы, омытой волнами?

— Да, я сокрушаюсь! И велика скорбь моя! Кармор, ты не утратил сына, не утратил цветущей дочери; храбрый Кольтар жив, и жива прекрасная Аннира. Ветви твоего дома цветут, о Кармор. А наш род окончится с Армином. Мрачно твое ложе, о Даура! И глубок могильный сон. Когда же ты проснешься и вновь зазвучит твое пение, твой пленительный голос? Дуй, дуй, осенний ветер! Бушуй над мрачной равниной! Реви, лесной поток! Буря, шуми вершинами дубов! Плыви, о месяц, пусть между обрывками туч мелькнет твой бледный лик! Напомни мне о той жестокой ночи, когда погибли мои дети, пал могучий Ариндаль, угасла милая Даура.

Даура, дочь моя, ты была прекрасна! Прекрасна, как месяц над холмами Фуры, бела, как первый снег, нежна, как веяние ветерка. Туго натягивал ты свой лук, Ариндаль, и в битве метко метал копье свое, взор твой был как мгла над морем, а щит сверкал, подобно молниям в грозу!

Армар, прославленный в битвах, явился снискать любовь Дауры. Она противилась недолго, и друзья предрекали им счастье. Эрат, сын Одгала, затаил вражду, ибо рукой Армара был сражен его брат. Он пришел в обличье моряка. На волнах, покачиваясь, красовался его челнок, кудри его серебрились, и суровое чело было спокойно.

— Прекраснейшая дева, — сказал он, — пленительная дочь Армина, у ближних скал, на взморье, где на деревьях рдеют плоды, там Армар ждет Дауру; я прислан перевезти его милую через бушующие волны.

Даура последовала за ним и стала звать Армара; только голос скал был ей ответом.

— Армар, мой милый, мой любимый, зачем ты пугаешь меня? Откликнись, откликнись, сын Арната! Тебя зовет Даура!

Вероломный Эрат, смеясь, скрылся на суше. Девушка, возвысив голос, стала звать отца и брата:

— Ариндаль! Армин! Неужели никто не спасет Дауру!

Зов ее донесся через море. Ариндаль, мой сын, сбежал с холма; он был грозен в охотничьих доспехах, в руках держал лук, в колчане у бедра гремели стрелы, пять иссера-черных догов скакали вокруг него. На берегу он увидел злодея Эрата, схватил его и привязал к дубу, крепко стиснув ему бедра. Стоны связанного огласили воздух.

Ариндаль пустился в море на своем челне, чтобы привезти Дауру. Но тут явился гневный Армар, он спустил стрелу с темно-серым опереньем; звеня, взвилась она и впиалась тебе в сердце, о Ариндаль, мой сын! Вместо злодея Эрата погиб ты, твой челн пригнало к скалам. Ты упал на них и умер.

Несчастливая Даура, у ног твоих текла кровь брата.

Волны разбились челн. Армар бросился спасти свою Дауру или умереть. Порыв ветра налетел с холма, взмыли волны, и пловец навеки

исчез под водой.

А я стоял один на утесе, окруженном морем, и слушал стоны дочери. Громко, неумолчно звала она, но отец не мог ее спасти. Всю ночь я слышал ее вопли, а ветер выл, и о скалы хлестал дождь. Перед рассветом голос Дауры стал слабеть. Она утихла, как вечерний ветерок в траве, растущей по утесу, угасла под бременем скорбей, оставила Армина одного! Погиб мой оплот в битвах, исчезла моя гордость, лучшая среди дев.

Когда бушуют бури с гор и вздымает волны северный ветер, я сижу на гулком берегу, не отводя очей от той страшной скалы. Месяц на закате порой озаряет тени моих детей, смутными призраками бродят они в печальном единении...»

Из глаз Лотты хлынули слезы, давая исход ее тоске, и прервали чтение Вертера. Он отшвырнул тетрадь, схватил ее руку и заплакал горькими слезами. Лотта оперлась на другую руку и закрыла глаза носовым платком. Оба были глубоко потрясены. Страшную участь героев песнопения они ощущали как собственное свое горе, ощущали его вместе, и слезы их лились согласно. Губы и слезы Вертера жгли Лотте руку. Ей стало страшно, она хотела уйти, но скорбь и жалость сковали ее, придавили свинцовой тяжестью. Она перевела дух и сквозь рыдания попросила его, неземным голосом попросила его читать дальше. Вертер весь дрожал, сердце его разрывалось, он поднял листок и, задыхаясь, стал читать:

— «Зачем же ты будишь меня, о вейяне весны? Ты ластишься и говоришь: „Я окроплю росой небес!“ Но близок для меня час увяданья. Близка та буря, что оборвет мои листья. А завтра он придет, придет тот странник, который знал меня в моей красе. Повсюду будет он искать меня взглядом и не найдет меня...»

Смысл этих слов всей своей силой обрушился на несчастного Вертера. В глубоком отчаянии бросился он к ногам Лотты, схватил ее руки, приложил их к своим глазам, ко лбу, и у нее в душе мелькнуло смутное предчувствие его страшного решения. Сознание ее помутилось, она сжала его руки, прижала к своей груди, в порыве сострадания склонилась над ним, и их пылающие щеки соприкоснулись. Все вокруг перестало существовать. Он стиснул ее в объятиях и покрыл неистовыми поцелуями ее трепетные лепечущие губы.

— Вертер! — крикнула она сдавленным голосом, отворачиваясь от него. — Вертер! — и беспомощным движением попыталась отстранить его. — Вертер! — повторила она тоном благородной решимости.

Он не стал противиться, разжал объятия и, не помня себя, упал к ее ногам. Она выпрямилась и в мучительном смятении, теряясь между любовью и гневом, выговорила:

— Это не повторится, вы больше не увидите меня, Вертер! — И, бросив на страдальца взгляд, исполненный любви, выбежала в соседнюю комнату и заперлась на ключ.

Вертер простирали ей вслед руки, но не посмел удержать ее. С полчаса лежал он на полу, склоняясь головой на диван, пока какой-то шорох не привел его в чувство. Это горничная пришла накрывать на стол. Он принялся шагать по комнате, а когда снова остался один, подошел к двери кабинета и тихонько позвал:

— Лотта, Лотта! Одно словечко! На прощание! — Она молчала. Он ждал, и молил, и снова ждал; потом крикнул: — Прощай, Лотта! Прощай навеки! — и бросился прочь.

Он добрел до городских ворот. Сторожа знали его и пропустили без разговоров. Шел мокрый снег, а он лишь около одиннадцати часов снова постучался у ворот. Когда он воротился домой, слуга его заметил, что барин потерял шляпу. Однако не осмелился ничего сказать, раздевая его. Вся одежда промокла насквозь. Впоследствии шляпу нашли на уступе холма, обращенном к долине; непостижимо уму, как ухитрился он в темную, дождливую ночь взобраться туда, не сорвавшись.

Он лег в постель и проспал долго. Слуга застал его за столом, когда утром, на его зов, принес кофе. Вот что приписал он к письму Лотте:

«Итак, в последний раз, в последний раз раскрываю я глаза. Увы, им более не суждено увидеть солнце, тусклый туманный день застлал его. Печалься же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный кончает свои дни. Лотта, только со смутным сном можно, пожалуй, сравнить то чувство, когда приходится сказать себе: это мое последнее утро. Последнее! Лотта, мне непонятно слово — последнее! Сейчас я полон сил, а завтра буду лежать, простертый и неподвижный, на земле. Умереть! Что это значит? Видишь ли, мы фантазируем, когда говорим о смерти. Я не раз видел, как умирают люди. Но человек так ограничен по своей природе, что ему не дано постигнуть начало и конец своего бытия. Сейчас еще свой, твой! Да, твой, любимая! А через миг... оторван, разлучен... И что, если — навеки! Нет, Лотта, нет... как я могу исчезнуть? Как можешь ты исчезнуть? Ведь мы же существуем! Исчезнуть? Что это значит? Опять только слово, только пустой звук, невнятный моей душе... Умер, Лотта! Зарыт в холодную землю, где так тесно, так темно! У меня была подруга, она была для меня всем в пору моей несмелой юности. Она умерла, я провожал ее прах и стоял у могилы, когда опускали гроб, и веревки, шурша, выскользнули из-под него и поднялись наверх, а потом посыпались комья с первой лопаты и глухо застучали о страшный ящик, все глуше, глуше и совсем засыпали его! Я бросился на землю возле могилы, я был испуган, поражен, подавлен, потрясен до глубины души, и все же я не знал, что это было, что это будет — смерть, могила! Непонятные слова!

Ах, прости, прости меня! Мне надо было умереть вчера, в тот миг! Ангел мой! Впервые, впервые без малейшего сомнения огнем прошло до самых недр моей души блаженное сознание: она любит, любит меня! И сейчас еще на губах моих горит священный пламень, которым пылала твои уста, и согревает мне сердце неведомым блаженством. Прости меня, прости! О, я знал, что ты любишь меня, знал с первого же задушевного взгляда, с первого пожатия руки, и все же, когда я уходил, а Альберт оставался возле тебя, я вновь отчаивался и томился мучительным сомнением.

Помнишь, ты прислала мне цветы, когда в том несносном обществе мы не могли перемолвиться хотя бы словом или пожать друг другу руку? Полночи простоял я перед ними на коленях, — ведь они были для меня залогом твоей любви. Но, увы, эти впечатления изгладились, как в душе верующего мало-помалу угасает сознание милости господней, щедро ниспосланной ему в явных и священных знаменьях.

Все проходит, но и вечность не охладит тот свительный пламень, который я выпил вчера с твоих губ и неизменно ощущаю в себе! Она меня любит! Мои руки обнимали ее, мои губы трепетали на ее губах, шепча из уст в уста бессвязные слова. Она моя! Да, Лотта, ты моя навеки.

Пусть Альберт твой муж! Что мне в том? Он муж лишь в здешнем мире, и значит, в здешнем мире грех, что я люблю тебя и жажду вырвать из его объятий и прижать к себе. Грех? Согласен, и я себя караю за него; во всем его неземном блаженстве вкусил я этот грех, впитал с ним жизненную силу и крепость. И с этого мгновения ты моя, моя, о Лотта! Я ухожу первый! Ухожу к отцу моему, к отцу твоему. Ему я поведаю свое горе, и он утешит меня, пока не придешь ты, и тогда я поспешу тебе навстречу и обниму тебя, и так в объятиях друг друга пребудем мы навеки перед лицом предвечного.

Я не грежу, не заблуждаюсь! На пороге смерти мне все становится яснее. Мы не исчезнем! Мы свидимся! Увидим твою мать! Я увижу, узнаю ее и перед ней, перед твоей матерью, твоим двойником, открою свою душу».

Около одиннадцати Вертер спросил своего слугу, вернулся ли Альберт. Слуга ответил, что вернулся, он сам видел, как прохаживали его лошадь. Тогда барин дал ему незапечатанную записочку такого содержания:

«Не одолжите ли вы мне для предстоящего путешествия свои пистолеты? Желаю вам долго здравствовать!»

Милая Лотта плохо спала эту ночь; то, чего она ждала со страхом, разрешилось, и разрешилось так, как она не могла ни предвидеть, ни ожидать. Кровь ее обычно текла ровно и безмятежно, теперь же была в лихорадочном возбуждении, и тысячи противоречивых чувств смущали ее чистую душу. Не огонь ли объятий Вертера горел в ее груди? Или же гнев на его дерзость? А может быть, она негодовала, сравнивая настоящее свое состояние с ушедшими днями невозмутимой и простодушной невинности и беспечной уверенности в себе? Каково будет ей встретиться с мужем? Рассказать ему о происшествии, в котором ей нечего скрывать и все же так трудно признаться? Оба они слишком долго молчали, и теперь ей первой придется нарушить молчание и в самую неподходящую минуту поразить мужа столь неожиданной исповедью. Уже самое известие о приходе Вертера будет ему неприятно, а тут еще это неожиданное потрясение! Смеет ли она надеяться, что муж надлежащим образом, без малейшего предубеждения, примет случившееся? Смеет ли она желать, чтобы он заглянул ей в душу? Но, с другой стороны, как ей хитрить с человеком, перед которым душа ее всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, с человеком, от которого она никогда не скрывала и не умела скрывать свои чувства? Эти противоречивые ощущения смущали и тревожили ее, а мысли то и дело возвращались к Вертеру, — он был потерян для нее, она же не могла оставить его, но увы, должна была предоставить самому себе, а он, теряя ее, терял все.

Она сама не сознавала, как тяжело сказывалась на ней теперь преграда, выросшая между нею и мужем! Из-за какой-то скрытой розни у них, разумных, порядочных людей, начались недомолвки, каждый все больше убеждался в своей правоте и неправоте другого, отношения так обострились и усложнились, что под конец, в самую решительную минуту, от которой зависело все, узел уже невозможно было развязать. Если бы в порыве счастливой откровенности согласие их восстановилось, если бы между ними ожила взаимная снисходительная любовь и растопила их сердца, друг наш, пожалуй, был бы спасен...

К этому примешалось еще одно особое обстоятельство. Как мы знаем из писем Вертера, он никогда не скрывал, что стремится уйти из жизни. Альберт постоянно спорил с ним, и между собой супруги тоже иногда толковали об этом. Альберт был ярким противником такого конца и с раздражением, несвойственным его натуре, утверждал не раз, что имеет веские причины сомневаться в серьезности подобного намерения; он даже отпускал по этому поводу шутки и внушил свое неверие Лотте.

Отчасти это успокаивало ее, когда она представляла себе горестную картину, но в то же время мешало ей поделиться с мужем мучившими ее сейчас опасениями.

Когда Альберт возвратился, Лотта в смущении поспешила ему навстречу, он был мрачен, дело его не удалось, потому что сосед оказался несговорчивым и мелочным человеком. Плохая дорога только усугубила его досаду.

Он спросил, все ли благополучно, и она поторопилась сообщить, что вчера вечером приходил Вертер. Он спросил, нет ли писем, и услышал в ответ, что письмо и несколько пакетов лежат у него в комнате. Он пошел туда, и Лотта осталась одна. Встреча с мужем, которого она любила и почитала, внесла перемену в ее чувства. Ей стало спокойнее на душе при мысли о его благородстве, его любви и доброте, ее потянуло к нему, она взяла свою работу и, как бывало, пошла за ним в кабинет. Он был занят делом, распечатывал и просматривал пакеты. Содержание некоторых из них было, видимо, не из приятных. Она о чем-то спросила его, он ответил кратко, подошел к конторке и стал писать.

Так они пробыли друг подле друга около часа, и на душе у Лотты становилось все тяжелее. Она чувствовала, что, будь он даже в наилучшем расположении духа, ей не под силу открыть ему то, что ее угнетает; на нее напала тоска, тем более мучительная, что она пыталась овладеть собой, сдержать слезы.

Появление слуги Вертера до крайности взволновало ее. Он вручил Альберту записку, и тот спокойно повернулся к жене со словами:

— Дай, пожалуйста, пистолеты. Пожелай ему счастливого пути, — добавил он, обращаясь к слуге.

Ее точно громом поразило, она поднялась шатаясь, голова у нее шла кругом, с трудом добрела она до стены, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но помедлила отдать их и промешкала бы еще долго, если бы вопросительный взгляд Альберта не поторопил ее. Не в силах вымолвить ни слова, она протянула слуге роковое оружие, а когда тот ушел, собрала свою работу и в несказанной тревоге поспешила к себе в спальню. Воображение пророчило ей всякие ужасы. Минутами она готова была броситься к ногам мужа и открыть ему то, что произошло, свою вину, свои страхи. И тут же понимала бесполезность такого шага; меньше всего могла она рассчитывать, что муж послушается ее и пойдет к Вертеру. Перед обедом явилась добрая приятельница с намерением о чем-то спросить и сейчас же уйти, однако осталась и оживила беседу за столом; поневоле надо было сделать над собой усилие, говорить, рассказывать и хоть немного забыться.

Слуга принес Вертеру пистолеты, и тот взял их с восторгом, когда услышал, что их дала сама Лотта. Он велел принести вина и хлеба, отправил слугу обедать и принялся за письмо.

«Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль, я осыпаю их поцелуями, — ведь ты прикасалась к ним. И ты, небесный ангел, покровительствуешь моему решению! Ты, Лотта, протягиваешь мне оружие, из твоих рук хотел я принять смерть и вот теперь принимаю ее. Я подробно расспросил слугу. Ты дрожала, отдавая пистолеты, и не сказала мне „прости“! Горе мне, горе, не сказала „прости“! Неужто твое сердце закрылось для меня из-за того мгновения, что навеки связало нас с тобой? Пройдут тысячелетия, Лотта, но не сотрут его следа! Я знаю, чувствую — не можешь ты ненавидеть того, кто так страстно тебя любит».

После обеда он приказал слуге запаковать все окончательно, порвал много бумаг и вышел из дому, чтобы уплатить мелкие долги. Потом вернулся, снова вышел и, невзирая на дождь, отправился за город в графский парк, побродил по окрестностям, вернулся под вечер и сел писать.

«Вильгельм, я в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай и ты! Дорогая матушка, простите меня! Будь ей утешением, Вильгельм! Благослови вас господь! Дела мои в порядке. Прощайте! До нового, радостного свидания!»

«Я плохо отблагодарил тебя, Альберт, но ты простишь мне. Я нарушил мир твоей семьи, я посеял недоверие между вами. Теперь я положу этому конец. Прощай! О, пусть смерть моя принесет вам счастье! Альберт, Альберт, дай счастье этому ангелу! И да пребудет благодать господня над тобой».

Весь вечер он разбирал бумаги, многое порвал и бросил в камин, запечатал несколько пакетов и надписал на них адрес Вильгельма. Они содержали небольшие заметки, отрывочные мысли, кое-что из этого я видел; в десять часов он велел подбросить дров в камин и принести бутылку вина, после чего отослал спать своего слугу, каморка которого, как и хозяйские комнаты, выходила на задний двор. Слуга лег, не раздеваясь, чтобы поспеть вовремя: барин сказал ему, что почтовых лошадей подадут к шести часам.

«После одиннадцати.

Все тихо вокруг меня, и душа моя покойна. Благодарю тебя, господи, что ты даровал мне в эти последние мгновения столько тепла и силы.

Я подхожу к окну, дорогая, смотрю и вижу сквозь грозные, стремительно несущиеся облака одиночные светила вечных небес! Вы не упадете! О нет! Предвечный хранит в своем лоне и вас и меня. Я увидел звезды Большой Медведицы, самого милого из всех созвездий. Когда я по вечерам уходил от тебя, оно сияло прямо над твоими воротами. В каком упоении смотрел я, бывало, на него! Часто я простирал к нему руки, видя в нем знамение и священный символ своего блаженства! И еще... Ах, Лотта, все, все напоминает здесь о тебе! Ты повсюду вокруг меня! Я, как ненасытное дитя, собирал все мелочи, которых касалась ты, моя святыня!

Завещаю тебе милый силуэт и прошу бережно хранить его. Тысячи раз я целовал его, тысячи раз кивал ему в знак приветия, когда уходил или возвращался домой.

Я написал твоему отцу и просил его позаботиться о моем прахе. На дальнем краю кладбища в сторону поля растут две липы. Под ними хочу я покоиться. Он сделает это по дружбе. Попроси его за меня. Я не собираюсь навязывать благочестивым христианам посмертное соседство злосчастного страдальца. Ах, мне хотелось, чтобы вы похоронили меня у дороги или в уединенной долине, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо могильного камня, а самаритянин пролил над ним слезу.

Пора, Лотта! Без содрогания беру я страшный холодный кубок, чтобы выпить из него смертельный хмель! Ты подала мне его, и я пью без колебаний. Весь, весь до дна! Так вот как исполнились желания и надежды моей жизни! Холодный и бесчувственный, стучусь я в железные врата смерти!

О, если бы мне даровано было счастье умереть за тебя! Пожертвовать собой за тебя, Лотта! Я радостно, я доблестно бы умер, когда бы мог воскресить покой и довольство твоей жизни. Но увы! Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь.

Я хочу, чтобы меня похоронили в этой одежде, она освящена твоим прикосновением: я просил о том же твоего отца. Моя душа витает над гробом. Не позволяй осматривать мои карманы. Вот этот розовый бант был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя среди твоих детей, расцелуй их за меня и расскажи об участи несчастного их друга. Милые мои! Они и сейчас окружают меня! Ах, как я потянулся к тебе, с первой же минуты не мог я оторваться от тебя! Пусть этот бант положат со мной в могилу. Ты мне подарила его в день рождения! Ах, как жадно вкушал я все эти радости! Не думал я, что сюда приведет меня мой путь!..

Будь спокойна, молю тебя, будь спокойна!..

Они заряжены... Бьет полночь! Да будет так! Лотта, прощай! Прощай, Лотта!..»

Один из соседей увидел вспышку пороха и услышал звук выстрела; но все стихло, и он успокоился.

В шесть часов поутру входит слуга со свечой. Он видит своего барина на полу, видит пистолет и кровь. Он зовет, трогает его; ответа нет, раздаётся только хрипение. Он бежит за лекарем, за Альбертом.

Лотта слышит звонок, ее охватывает дрожь. Она будит мужа, оба встают; захлебываясь от слез, слуга сообщает о происшедшем, Лотта без чувств падает к ногам Альберта.

Когда врач явился к несчастному, он застал его на полу в безнадежном состоянии, пульс еще бился, но все тело было парализовано. Он прострелил себе голову над правым глазом, мозг брызнул наружу. Ему открыли жилу в руке, кровь потекла, он все еще дышал.

Судя по тому, что на спинке кресла была кровь, стрелял он, сидя за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла... Он лежал, обессиленный, на спине, головой к окну, одетый, в сапогах, в синем фраке и желтом жилете. Весь дом, вся улица, весь город были в волнении. Пришел Альберт. Вертера уже положили на кровать и перевязали ему голову. Лицо у него было как у мертвого, он не шевелился. В легких еще раздавался ужасный хрип, то слабей, то усиливаясь; конец был близок.

Бутылка вина была едва почата, на столе лежала раскрытой «Эмилия Галотти».

Не берусь описать потрясение Альберта и горе Лотты.

Старик амтман примчался верхом, едва получив известие, и с горькими слезами целовал умирающего. Вслед за ним пришли старшие его сыновья; в сильнейшей скорби упали они на колени возле постели, а самый старший, любимец Вертера, прильнул к его губам и не отрывался, пока он не испустил дух; тогда мальчика пришлось оттащить силой. Скончался Вертер в двенадцать часов дня. Присутствие амтмана и принятые им меры умиротворили умы. По его распоряжению Вертера похоронили около одиннадцати часов ночи на том месте, которое он сам для себя выбрал. Старик с сыновьями шли за гробом, Альберт идти не мог — жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастера. Никто из духовенства не сопровождал его.

Комментарии

Роман в письмах «Страдания юного Вертера» — второе относительно крупное произведение молодого Гете, которое принесло ему всемирную славу.

Столь бурный, столь мгновенно-массовый литературный успех никогда уже не выпадал на долю великого поэта. Казалось, читатели всех стран только и ждали выхода в свет книги, вместившей, вопреки своим малым размерам, все беды и смутные чаяния страждущего человечества. Французский перевод напумевшего немецкого романа попал в 1786 году в руки семнадцатилетнего Наполеона Бонапарта и тут же стал настольной книгой угрюмого мечтателя, грезившего о великих воинских подвигах.

Двадцать два года спустя, во время Эрфуртского свидания Наполеона с русским самодержцем Александром I, могущественный император французов возымел желание встретиться с автором «Вертера». Памятная аудиенция состоялась 2 октября 1808 года. «„Voilà un homme!“ — Вот это человек! — так встретил Наполеон прославленного поэта. — Сколько вам лет? Шестьдесят? Вы прекрасно сохранились». Император не поскупился на любезности. Семь раз, так утверждал он, им был прочитан знаменитый роман; не разлучался он с ним и во время Египетского похода. Воздав должное целому ряду особенно нравившихся ему страниц, Наполеон походя позволил себе и одно критическое замечание: почему-де романист мотивировал самоубийство героя не только несчастной любовью, но и уязвленным честолюбием? «Это ненатурально! Этим вы снижаете веру читателя в исключительность его великой страсти. Почему вы так поступили?» Не оспаривая упрека императора, Гете заметил, что писатель, быть может, заслуживает снисхождения, если он с помощью такого приема, пусть даже неправомерного, добивается эффекта, иными средствами недостижимого. Наполеон, видимо, удовлетворился полученным ответом. Быть может, император невольно припомнил и признал, что тогда, задолго до Тулона, до 13 вандемьера, до Аркольского моста — этих первых фанфар, возвещавших начало триумфального шествия «нового Цезаря», — он и сам едва ли бы так увлекся романом, в котором все сводилось бы только к трагической развязке истории одной несчастной любви и ничто не призывало к борьбе с пагубным феодально-юридическим укладом, мешавшим свободному материальному и моральному развитию новых людей, нового класса, новой эры в истории человечества. Именно тесное сцепление разнородных причин, обусловивших гибель Вертера, личных и общественных обстоятельств и отозвалось так широко в сердцах немецких и иноземных читателей.

«Страдания юного Вертера» вышли в свет в 1774 году, за пятнадцать лет до начала Французской буржуазной революции. В политически отсталой, феодально-раздробленной Германии о каких-либо социальных переменах можно было разве только грезить. Как ни нелепо-анахронична сравнительно с другими — централизованными — европейскими государствами была тогдашняя Германия (или Священная Римская империя германской нации, как она неоправданно пышно продолжала называться), как ни номинально-призрачна была возглавлявшая ее верховная власть, — ее феодально рассредоточенный полицейски-бюрократический строй еще не утратил относительной прочности. Хотя бы по той причине, что в стране, говоря образным языком Энгельса, «не было той силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений». Бюргерство, раздробленное, как и все в этой державе, на множество больших и малых самостоятельных или полусамостоятельных княжеств, еще не сложилось в дееспособную политическую величину, сплоченную единством национально-классовых интересов. То же приходится сказать и о городском плебействе, и о подъяремных крепостных хлебопашцах.

То, что «Страдания юного Вертера» читались во всех городах и весях его родины, что бесчисленные пиратствующие книготорговцы, не спросив автора, перепечатывали его роман небывальными тиражами, Гете нисколько не удивляло. Поражало его другое: то, что «Вертером» в не меньшей мере были увлечены и французы, — «а что им до наших бед и страданий!» Ведь еще в бытность свою страсбургским студентом Гете успел понаслышаться в «полуфранцузском Эльзасе» самых радужных разговоров о предстоящих переменах. Ходили благоприятнейшие слухи о якобы просвещенных взглядах наследника престола. Все уповали, что «существующие порядки» умрут чуть ли не в день и час, когда перестанет биться старое сердце Людовика XV.

Пятнадцать лет сопутствовал «Вертер» читателям до того, как разразилась великая революция, сокрушившая дворянскую монархию во Франции. Ни при одной из предшествовавших ей буржуазных революций, ни в Нидерландах в XVI, ни в Англии в XVII, ни даже в Северной Америке в XVIII столетии не произошло столь коренной ломки устаревших учреждений и порядков, какую осуществила французская революция на исходе позапрошлого века, знаменуя четкий водораздел между феодальной эрой и буржуазно-капиталистической.

Но примечательно, что знаменитый немецкий роман не утратил своей популярности и после того, как этот «водораздел» стал непреложной явью. Старый уклад поверженной французской монархии, если не всюду в Европе, то достоверно во Франции, отошел в безвозвратное прошлое, но горечь жизни, отвращение к жизни, к ее несовершенствам не разлучились с земной юдолью, неотрывно сопутствовали людям, наделенным более ранимым сердцем, и в новоявленную эру. «Пресловутая „эпоха Вертера“, если как следует в нее всмотреться, обусловлена не столько общим развитием мировой культуры, сколько частным развитием отдельного человека,

природное свободное состояние которого было вынуждено приноравливаться к ограничивающим формам устаревшего мира. Несбыточность счастья, насильственная прерванность деятельности, неудовлетворенное желание нельзя назвать недугом определенного времени, а скорее недугом отдельного лица. И как было бы грустно, не будь в жизни каждого человека поры, когда ему кажется, будто „Вертер“ написан только для него одного», — сказал Гете Эккерману 2 января 1824 года.

Не вразрез с ранее высказанным утверждением, что-де чрезвычайный успех «Вертера» был вызван тем, что «юный мир сам подкопался под свои устои», а, напротив, в дальнейшее его развитие, Гете говорил (в частности, в письме от 3 декабря 1812 г., обращенном к другу Цельтеру по случаю постигшего его большого горя — самоубийства сына), что современность с ее «нешуточным безумием» и «нестерпимым внешним гнетом» может всегда и на любом этапе исторического бытия пробудить в юном, незащищенном сердце «волю к смерти». «Я мог бы написать нового „Вертера“, от которого у людей волосы станут дыбом пуце, чем при чтении первого». Гете, мужественно принявший мир со всеми его невзгодами и радостями, всегда помнил, каких усилий ему стоило преодоление «неприятности мира» как в «эпоху Вертера», так — увы! — и позднее.

И отсюда — совсем особое отношение создателя «Вертера» к своему раннему творению. Из прочих своих сочинений Гете нередко читал по просьбе друзей и почитателей отдельные отрывки, но никогда не из «Вертера»; да и сам только дважды перечитывал его. Первый раз — в восьмидесятых годах позапрошлого века, когда он, говоря его словами, «повторно вернул „Вертера“ в материнское чрево для вторичного его рождения» (так в письме к Кнебелю от 21 ноября 1882 г.). Только в 1886 году окончательный текст романа был раз и навсегда установлен. К тому же времени относятся и знаменательные слова писателя к его подруге, госпоже Шарлотте фон Штейн: «Я исправляю Вертера и нахожу, что автор сделал глупость, не застрелившись по окончании этой вещи».

Вторично (и в последний раз) поэт соприкоснулся со своим юношеским романом в 1823 году, в горестный год заката его последней любви и светлых надежд увенчать его страстное влечение законным браком.

И надо же было, чтобы как раз теперь, летом 1823 года, из Лейпцига подоспело предложение книгоиздательства Вейланда, пятьдесят лет назад осуществившего первоиздание знаменитого романа! Наследники старика Вейланда просили господина тайного советника украсить эту книгу новым предисловием. Гете дал на то свое согласие. Но предисловие не было написано: рана, нанесенная тяжелой утратой, еще не зарубцевалась. Автор предпослал юбилейному изданию стихотворение, обращенное к Вертеру не как к вымышленному герою, а как к своему alter ego, в котором имеются такие строки:

Тебе уйти, мне — жить на долю пало,

Покинув мир, ты потерял так мало.

Нет, Гете недаром остерегался всю свою жизнь перечитывать «Вертера». По его утверждению, высказанному все в той же беседе с Эккерманом, на которую мы уже ссылались, этот роман «сплошь усеян зажигательными бомбами». Читая его, «становится как-то не по себе и невольно пробуждается страх, что ты вновь подпадешь под власть патологической силы, некогда его породившей».

Трагической почвой, вскормившей «Страдания юного Вертера», был Вецлар, резиденция имперского суда, куда Гете прибыл в мае 1772 года по желанию отца, мечтавшего о блестящей юридической карьере сына. Записавшись адвокатом-практиком при имперском суде, Гете не заглядывал в здание судебной палаты. Тем усерднее он посещал дом амтмана (то есть управляющего обширной экономией Тевтонского ордена), куда его влекло пылкое чувство к Шарлотте, старшей дочери хозяина, невесте секретаря ганноверского посольства Иоганна Кристиана Кестнера, с которым Гете поддерживал доброприятельские отношения. 11 сентября того же 1772 года Гете, внезапно и ни с кем не простившись, покидает Вецлар, приняв решение вырваться из двусмысленной ситуации, в которой он очутился. Искренний друг Кестнера, он увлекся его невестой, и та не осталась к нему равнодушной. Это знает каждый из трех, — отчетливее всех, пожалуй, трезвый и умный Кестнер, уже готовый вернуть Шарлотте данное ею слово. Но Гете, хотя и влюбленный, хотя и безумствующий, уклоняется от великодушной жертвы друга, которая и от него, Гете, потребовала бы ответной жертвы — отказа от абсолютной свободы, без которой он, бурный гений, не представлял себе своей только что начинавшей развертываться литературной деятельности — своей борьбы с убогой немецкой действительностью. С нею не мирился какой бы то ни было покой, какая бы то ни было устроенность жизни. Горечь разлуки с прелестной девушкой, страдания юного Гете были неподдельны. И не подлежит сомнению, что мысль о самоубийстве порою казалась молодому поэту единственным выходом из трагического сплетения разнородных чувств и тяжелых сомнений. Так или иначе, но Гете разрубил этот туго затянувшийся узел. «Он ушел, Кестнер! Когда вы получите эти строки, так знайте, что он ушел... — так писал Гете в ночь перед его бегством из Вецлара. — Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах».

Не знаю, не содержится ли в последней строчке записки намек на то, что он «литературно отчитается» перед друзьями в своих вецларских переживаниях.

«„Вертер“, — говорил Гете в старости, — это тоже такое создание, которое я, подобно пеликану, вскормил кровью собственного сердца». Все это так, конечно, но еще не дает оснований видеть в Вертере всего лишь главу автобиографии, произвольно снабженную трагической развязкой-самоубийством вымышленного героя. Нет, Гете ни в малой мере не Вертер, сколько бы автор ни наделял героя своими душевно-духовными качествами, в том числе и собственным лирическим даром. Иные письма Вертера (не говоря уже о замечательных «его» переводах из Оссиана) даже метрически сходятся с вдохновенными «большими гимнами» Гете. Не стирает разности между писателем и его ором романа и то, что «Страдания юного Вертера» так густо насыщены эпизодами и настроениями, взятыми из самой жизни, как она сложилась в период пребывания Гете в Вецларе; попали в текст романа и подлинные письма поэта, почти не измененные... Весь этот «автобиографический материал», более обильно представленный в «Вертере», чем в других произведениях Гете, все же оставался только материалом, органически вошедшим в конструкцию художественно-объективного романа. Иначе говоря, «Вертер» — свободный поэтический вымысел, а не бескрылое воссоздание фактов, не подчиненных единому идейно-художественному замыслу.

Но, не являясь автобиографией Гете, «Страдания юного Вертера» с тем большим основанием могут быть названы характерной, типической «историей его современника». Общность автора и его героя сводится прежде всего к тому, что и тот и другой — сыны

дореволюционной Европы XVIII века, оба в равной мере втянуты в бурный круговорот новой мысли, порвавшей с традиционными представлениями, владевшими людским сознанием на протяжении средневековья вплоть до позднего барокко. Эта борьба с обветшалыми традициями мышления и чувствования охватила самые различные области духовной культуры. Все тогда подвергалось сомнению и пересмотру.

Гете долго носился с мыслью литературно откликнуться на все, что он переживал в Вецларе. Мы вправе предполагать, что он говорит об этом уже в письме (вероятно, от июля 1773 г.), адресованном Кестнеру: «...если счастье улыбнется, вы вскоре получите нечто в другой манере (чем „Гец“. — Н. В.). Я обрабатываю мою ситуацию в драму наперекор богу и людям». Но драма не была написана. Гете предпочел прибегнуть к форме романа в письмах. Автор «Вертера» связывал начало работы над романом с моментом получения известия о самоубийстве Иерусалема, знакомого ему еще по Лейпцигу и Вецлару. Сюжет, по-видимому, в общих чертах сложился именно тогда. Но за писание романа Гете взялся только 1 февраля 1774 года. Написан был «Вертер» чрезвычайно быстро. Весной того же года он был уже закончен. «Я... вдохнул в начатую вещь весь пыл моей души, не делая различия между вымыслом и действительностью. Я... сконцентрировал все, что относилось к моему замыслу, пересмотрев под этим углом недавнюю мою жизнь». Из жизни, из своего расширившегося опыта Гете почерпал иные черты. Так, он присвоил голубоглазой Шарлотте черные глаза. Максимилианы Brentano, рожденной фон Ларош, с которой он поддерживал во Франкфурте любовно-дружеские отношения; так привнес в образ Альберта непривлекательные черты грубого супруга Максимилианы. Привнесен весь эпизод с деревенским парнем, убившим своего соперника, взятый из уголовной хроники Дармштадта (в первой редакции романа он отсутствует).

Письма Вертера состоят не из одних горестных сетований. Из собственной потребности и идя навстречу пожеланиям Вильгельма, иные его письма носят «исторический» (мы бы сказали — повествовательный, порою даже бытописательский) характер. Так возникли прелестные сцены, разыгрывавшиеся в доме старого амтмана. Или остросатирическое изображение спесивой аристократической знати в начале второй части романа.

«Страдания юного Вертера», как сказано, роман в письмах, жанр, характерный для литературы XVIII века. Но в то время, как в романах Ричардсона, Руссо и второстепенных их современников общая повествовательная нить плетется целым рядом корреспондентов и письмо одного персонажа продолжает письмо другого, в «Вертере» все написано одной рукою, рукою заглавного героя (за вычетом приписки «издателя»). Это сообщает роману сугубую лиричность и монологичность, и это же дает возможность романисту шаг за шагом следовать за нарастанием душевной драмы злосчастного юноши.

«Вертер» — один из замечательнейших романов о любви, в котором любовная тема без остатка сливается с темой «горечи жизни», с неприятием существующего немецкого общества. Этот типичный для немецкой действительности роман-трагедия был написан Гете с такой потрясающей силой, что он не мог не отозваться в сердцах всех людей предреволюционной Европы XVIII века.

Мелузина — полуженщина-полурыба, персонаж из французской сказки, сложившийся еще в средние века и из Франции перекочевавший в Германию и в скандинавские страны. Сказка о Мелузине упоминается Гете в «Поэзии и правде». Позднее он назвал «Новой Мелузиной» одну из вставных новелл в «Годах странствий Вильгельма Мейстера».

...Я живо представил себе патриархальную жизнь и т. д. — Имеется в виду библейское предание о сватовстве прадеда Исаака (Книга Бытия, гл. 24).

Батте Шарль (1713–1780) — французский эстетик, автор «Рассуждений о изящной литературе и ее основах» (1747, 1750); Вуд Роберт (1716–1771) шотландский археолог. Немецкий перевод его «Очерка о самобытном даровании и творчестве Гомера», сделанный Михаэлисом, вышел во Франкфурте анонимно в 1773 г. Гете рецензировал его в журнале «Франкфуртские ученые записки» за 1773 г.; Де-Пиль Роже (1635–1709) — французский художник и искусствовед; Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) — археолог и искусствовед; основной его труд — «История искусства древности». Гете написал о нем статью «Винкельман» (1805); Зульцер Иоганн Георг (1720–1779) — немецкий эстетик; первая часть его «Общей теории изящных искусств» вышла в 1771 г. Гете написал о ней критическую статью в том же франкфуртском журнале со всей несдержанностью «бурного гения». Впоследствии он отзывался о Зульцере благосклоннее; Гейне Христиан Готлиб (1729–1812) — известный геттингенский филолог, историк античной литературы.

...когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничена деятельность человека, и т. д. — В этом письме от 22 мая Вертер впервые высказывает мысль о самоубийстве, о добровольном выходе из этих ограничивающих человека тесных пределов.

Мисс Дженни — героиня романа французской писательницы Марии-Жанны Риккони «История мисс Дженни Гленфиль») в 1764 г. переведенный на немецкий язык Геллиусом, пользовался большим успехом в Германии.

«Векфилдский священник» — знаменитый роман ирландского писателя Оливера Голдсмита (1728–1774). Гете познакомился с этим романом, будучи страсбургским студентом, читал его сам и слышал в превосходном чтении Гердера.

...Призналась, что до страсти любит танцевать немецкий вальс. — На балах того времени танцевали старинный французский менуэт, англес, и немецкий «вальс с подскоками», вытесненный позднее плавным и размеренным английским вальсом.

...и произнесла: «Клопшток!» — Лотта, конечно, имела в виду великолепную оду Клопштока «Весеннее празднество», и Вертер сразу о том догадался. Общее понимание искусства свидетельствовало о родстве душ Шарлотты и Вертера при первой же встрече.

Пенелопа — супруга Одиссея (см. песнь XX «Одиссеи» Гомера).

Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) — викарный пастор, известный религиозный писатель. Гете в молодости дружил с ним, восхищался его проповедями и был заинтересован его научно несостоятельным учением, «физиогномикой», пытающимся постигнуть сущность и отдельные свойства человека по особенностям его внешнего облика. Гете восторженно отозвался о книге Лафатера «Проповеди о пророке Ионе» во «Франкфуртских ученых записках» за 1773 г. Лафатер был убежденным сторонником иррационализма и даже верил в «чудеса» шарлатана Калиостро. Впоследствии пути Гете и Лафатера резко разошлись.

Оссиан — имя легендарного слепого барда, якобы жившего в III в., которому шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736–1796) приписывал свои сочинения, выдавая их за переводы найденных им древних гэльских подлинников. Впрочем, как позднее установили, в основу его поэтических произведений были и вправду положены древнегэльские тексты, но сильно измененные и дополненные Макферсоном. Песни Оссиана имели громадный успех на всем европейском континенте. Макферсон, при всем его ярко выраженном поэтическом таланте, был расчетливым литератором, сознательно привнесшим в свои переводы-обработки настроения современной ему английской так называемой «кладбищенской поэзии» (Эдуарда Юнга, Томаса Грея и др.). Вскоре после страсбургской встречи с Гердером Гете перевел целый ряд больших и малых песен Оссиана. В «Страданиях юного Вертера» автор «присвоил» эти переводы своему герою. Примечательно, что ради Оссиана, певца смерти, Вертер изменяет Гомеру, певцу жизни, которому он поклонялся до того, как его любовь приняла трагический оборот.

Бононский камень (вернее, болонский). — О нем подробнее в избранных местах из «Итальянского путешествия» (письмо из Болоньи от 20 октября 1786 г.); см. т. 9 наст. изд.

Гомер в ветштейновском издании. — Гомер, вышедший в амстердамском издательстве И.-Г. Ветштейна, в карманном формате; Эрнест Иоганн Августе (1707–1781) — выдающийся ученый, профессор классической филологии в Лейпциге, издавший пятитомное собрание сочинений Гомера с параллельным латинским текстом.

...из коронационной поры Франца I... — Коронация Франца I (1708–1765) состоялась во Франкфурте-на-Майне в 1745 г.

Кенникот Бенъямин (1718–1783) — английский богослов и известный гебраист; Землер Иоганн Соломон (1725–1791) и Михаэлис Давид Михаэль (1717–1791) — видные немецкие богословы.

...поэта древности... — Имеется в виду Оссиан, а никак не Гомер, ибо поэтом-страдальцем был шотландский бард, последний из каледонских богатырей.

Священник и левит и т. д. — Евангелие от Луки, гл. 10, с. 31–38.

«Эмилия Галотти» — знаменитая трагедия Лессинга, его «бюргерская Виргиния», как он называл ее, намекая на прообраз Одоардо Галотти — плебея Люция Виргиния, который, подобно Одоардо, прикончил кинжалом свою дочь, а не посягнувшего на ее честь патриция Аппия Клавдия. Этим Люций хотел сказать, что спастись от бесчестья можно только ценою смерти. Но именно это безмолвное обвинение надменной и развратной знати и вдохновило римских плебеев на победоносное восстание. Таким же безмолвным призывом к восстанию кончает и Лессинг свою «бюргерскую Виргинию». И ту же мысль проводит Гете в финале своего романа, символически положив на стол «мятежного мученика» «открытую „Эмилию Галотти“».

Н. Вильмонт

Примечания

1 Пусть читатель не трудится отыскивать названные здесь места; нам пришлось изменить стоявшие в оригинале подлинные названия. (Прим. автора.)

2 Мы вынуждены опустить это место в письме, чтобы не давать повода к дальнейшей обиде, хотя, в сущности, какого писателя может тронуть суждение первой встречной девушки и несложившегося молодого человека? (Прим. автора.)

3 Здесь также пропущены имена некоторых отечественных писателей. Тот, кого Лотта похвалила, несомненно, угадает это чутьем, прочитав настоящее место в книге, а другим нет нужды знать об этом. (Прим. автора.)

4 У нас имеется теперь превосходная проповедь Лафатера на эту тему, между прочим и по поводу книги пророка Ионы. (Прим. автора.)

5 Из уважения к этой почтенной личности упомянутое письмо, а также другое, о котором речь пойдет дальше, изъяты из настоящего архива и не будут опубликованы, ибо такую дерзость вряд ли могла бы извинить даже горячая признательность читателей. (Прим. автора.)